

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СЛАВЯНО ·



2003

· ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения



СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

2003

СЕНЯБРЬ ●

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ОКТАБРЬ ●

Содержание

Волков В.К. (Москва). Место славяноведения в системе гуманитарных знаний..... 3

К 125-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ

Виноградов В.Н. (Москва). Канцлер А.М. Горчаков в водовороте Восточного кризиса 70-х годов XIX века..... 16
Макарова И.Ф. (Москва). Русский царь в народных представлениях болгар..... 25

СТАТЬИ

Досталь М.Ю. (Москва). Кафедра славянской филологии МГУ (1943–1948): К 60-летию основания..... 32
Багдасаров А.Р. (Москва). О варьировании литературных норм в современном хорватском языке..... 48

СООБЩЕНИЯ

Чуркина И.В. (Москва). Русско-славянская филология в Тартуском университете..... 56
Стыкалин А.С. (Москва). Международные научные конференции, посвященные истории Венгрии и русско-венгерских отношений..... 63

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Акимова О.А. Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova..... 73
Стыкалин А.С. Е.Ю. Сергеев. “Иная земля, иное небо...” Запад и военная элита России (1900–1914 гг.)..... 83
Задорожнюк Э.Г. Rozpad Československa. Česko-slovenské vzťahy 1989–1992..... 88
Гузенкова Т.С. В.В. Петровский. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации..... 91

<i>Горизонтов Л.Е.</i> И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки	96
<i>Марисина И.М.</i> И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки	102
<i>Сисс-Кишишовский С.</i> Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского: Каталог: Из собрания научной библиотеки МГУ	104

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Досталь М.Ю.</i> Международная конференция “200 лет русско-славянской филологии в Тарту”	107
<i>Платонова И.В.</i> Научная конференция “Ю.И. Венелин и Болгарское национальное возрождение”	112
<i>Машкова А.Г.</i> Международная научная конференция “Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение).....	113
<i>Калнынь Л., Клепикова Г.</i> “Круглый стол” “Методы изучения территориальных диалектов. К итогам опыта славянской диалектологии XX века”	115

ЮБИЛЕИ

<i>Стыкалин А.С.</i> К юбилею Эмиля Нидерхаузера	119
<i>Стыкалин А.С.</i> К юбилею Александра Михайловича Орехова	120

НЕКРОЛОГ

<i>Горизонтов Л.Е., Стыкалин А.С.</i> Памяти Александра Сергеевича Мыльникова (1929–2003).....	122
Новые книги.....	125



© 2003 г. В. К. ВОЛКОВ

МЕСТО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

Поставленная в заголовке проблема¹ сразу же вызывает каскад вопросов: как очертить границы гуманитарных знаний, какую роль играют гуманитарные знания в культуре того или иного народа, как, наконец, культура отдельного народа соотносится с конкретной цивилизацией, к которой он принадлежит? Каждый их этих вопросов содержит понятия, имеющие десятки, а то и сотни определений в науке, и зачастую не совпадают с распространенными в быту и общественном сознании представлениями. Чтобы разобраться в поставленной проблеме, следует установить систему координат каждого из употребляемых понятий, рассмотреть их в иерархической последовательности. Начнем с самых широких категорий. И первой из них будет “цивилизация”.

Понятие “цивилизация” вошло в науку в середине XVIII в. в тройном ряду антагонистических определений “дикость – варварство – цивилизация” во Франции и Англии (см. подробнее [1]). В XIX в. оно было использовано американским исследователем первобытного общества Л.Г. Морганом, а у него перенято Ф. Энгельсом в труде “Происхождение семьи, частной собственности и государства” и легло в основу марксистского учения об общественно-экономических формациях как определенной степени развитости общественно-политических отношений, причем коммунизм рассматривался как отдельная и высшая форма цивилизации. Для марксистской литературы характерно смешение понятий “цивилизация” и “культура”, которые считали синонимами. Именно так трактует вопрос “Советская историческая энциклопедия” [2. С. 769–770]. Такая путаница до сих пор в ходу. Наиболее часто с ней приходится сталкиваться в работах о русской культуре, трактующейся как “русская цивилизация”.

Между тем развитие науки уже давно подходило к другому пониманию цивилизации как конкретного культурно-исторического типа, характерного для группы государств (или народов) и обладающего рядом черт, свойственных только им². Такое толкование получило широкое распространение уже после Первой мировой войны, особенно после выхода в свет трудов О. Шпенглера [5] и А. Тойнби [6]. Выражение

Волков Владимир Константинович – д-р ист. наук, профессор, член-корр. РАН, директор Института славяноведения РАН.

¹ Данная статья является несколько расширенным вариантом доклада, сделанного на Международной конференции “Славянский мир: общность и многообразие”, состоявшейся в г. Воронеже 23 мая 2003 г. в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

² Впервые такое определение было введено в научный оборот Н.Я. Данилевским в его книге “Россия и Европа”, в которой он отстаивал идею самобытности славянских народов (журнальный вариант – 1869 г., первое отдельное издание вышло в свет в 1871 г.) [3]. О его взглядах подробнее см.: [4].

“мировая цивилизация” до сих пор остается научной абстракцией, несмотря на бурное развитие процессов глобализации и новых информационных технологий, давших основание говорить о новой эпохе в жизни всего человечества. Реально на земном шаре сосуществуют несколько крупных цивилизаций, причем их число продолжает оставаться спорным вопросом. Интерес к этим проблемам был подстегнут прогнозами о возможном “столкновении цивилизаций” [7], которые не получили широкой поддержки или практического подтверждения (см.: [8])³. Но они дали толчок развитию цивилизационных исследований, в частности в России, где в 1990-х годах появились многочисленные труды по этой проблематике (см., например, [9]). При этом наблюдается решительный переход от определения понятия к выработке концепции, к раскрытию структурообразующих факторов цивилизаций, критериев их вычленения.

Одно перечисление цивилизационных механизмов впечатляет как числом, так и значимостью. Сюда принято относить социально-экономические и политико-правовые институты данного общества, государственное устройство, этнические связи и взаимоотношения, менталитет отдельных народов, религию и выработанные длительной практикой этические нормы и формы поведения. В этих рамках культура представляется как один из важнейших интегрирующих механизмов цивилизации, во многом определяющих ее специфику и своеобразие. Современные представления очерчивают конкретную цивилизацию как сложную социокультурную систему, охватывающую материальные и духовные стороны существования общества.

Не менее сложно обстоит дело с определением культуры. Число ее дефиниций зашкаливает за несколько сотен. В качестве базового возьмем определение культуры как сферы духовного производства общества. Входящие сюда компоненты чрезвычайно многообразны. Помимо религиозных верований, моральных и этических норм, искусства во всех его видах и проявлениях, этнического самосознания и национальных “картин мира”, сюда в последние два столетия начала властно вторгаться наука. В наше время наука превратилась в решающую производительную силу общества, изменила цели и перспективы существования человечества, заставила его задуматься над общностью будущей судьбы. И если естественные науки развиваются у различных народов и в рамках различных цивилизаций по единому пути, то иначе обстоит дело с науками гуманитарными. Именно гуманитарные знания по-прежнему отличают одну цивилизацию от другой, лежат в основе различия их культур, особенно если учесть, что каждая культура формирует особый тип человеческой личности. А человек и является главным носителем культуры.

Обращаясь к различным цивилизациям, можно констатировать, что область гуманитарного знания в них различается как содержательно, так и по форме. Человек европейской цивилизации воспринимает мир и действительность совсем не так, как, скажем, человек китайской, индийской или мусульманской цивилизации. У них разное историческое прошлое и накопленное культурное наследие. У них разные области интересов, разные системы ценностей, разные источники гуманитарного знания, разные формы искусства, разные нормы поведения и культура быта, весь уклад жизни. К области гуманитарного знания следует также отнести изучение народных преданий и легенд, того, что мы называем “семейной историей”, а также бытовых механизмов их ретрансляции последующим поколениям. И эти особенности сохраняются, надо полагать, до тех пор, пока существуют различные национальности. Иной перспективы не прогнозируют даже самые радикальные аналитики.

Совершенно очевидно, что гуманитарные науки, уделяя различное внимание отдельным дисциплинам и областям знания, основное внимание, как правило, концентрируют на тех из них, которые можно отнести к разряду собственного страноведения. Несмотря на то, что трудно провести границу между гуманитарными и общест-

³ Заметим, что наиболее крупные конфликты XX в. – Первая и Вторая мировые войны – происходили преимущественно внутри одной, европейской, цивилизации.

ведческими дисциплинами (эта граница всегда спорна и на протяжении обозримого времени не раз менялась), все же гуманитарные дисциплины ближе к тому определению культуры, которое видит в ней сферу духовного творчества человека. Ядром гуманитарных знаний являются философский и историко-филологический комплексы. Именно последний лежит в основе славяноведения как особой исследовательской сферы комплексного характера.

Опираясь на очерченный выше понятийный аппарат, можно приступить к рассмотрению вопроса о месте славяноведения в мировой науке (в числе ее гуманитарных дисциплин).

Славяноведение, зародившееся как академическое направление исследований (первоначально преимущественно в самих славянских странах) в конце XVIII – начале XIX вв. одновременно со становлением большинства других современных гуманитарных дисциплин, быстро развивалось и заняло видное место в мировой науке с конца XIX – начала XX вв. Тогда же встал вопрос о проведении международных конгрессов славистов, инициатором которого стала Российская Академия наук [10. С. 311], признанный лидер славистических исследований (это свое место она сохраняет и ныне). Однако вследствие войн и революций в начале XX в. первый международный конгресс смог состояться только в 1929 г. в Праге [11. С. 196–197]. Российское (советское) славяноведение переживало тогда трудный период [12].

Особого развития славистическая наука достигла во второй половине XX в., когда все славянские страны составляли ядро социалистической системы и, соответственно, одного из полюсов биполярного мира. Естественно, что интерес к славяноведению во всем мире подогревался тогда политическими соображениями, а сама наука зачастую переплеталась с так называемой советологией, которая была как бы своеобразным дополнением к нему. Эти особенности исчезли после крушения коммунистических режимов в 1989–1991 гг. Однако интерес к славяноведению продолжает оставаться на высоком уровне. Последние международные конгрессы славистов (в 1993 г. в Братиславе, в 1998 г. в Кракове, в августе 2003 г. в Любляне) собирали до тысячи исследователей из нескольких десятков стран.

В мировой науке (в неславянских странах) славянский мир, т.е. совокупность всех славянских народов, рассматривается как единое целое. Однако преимущественное внимание уделяется России как наиболее крупной славянской стране и русским как самому многочисленному славянскому народу: русские составляют примерно половину всего славянства, а на долю восточного славянства, т.е. русских, белорусов и украинцев, приходится две трети численности славян.

Существуют и некоторые региональные особенности в подходе к славистике. Если для стран европейской цивилизации характерно считать славистикой главным образом ее филологические составляющие, а исторические компоненты изучать отдельно, то для азиатских стран характерно преимущественное внимание к истории и политологическим исследованиям. После Второй мировой войны там были созданы сильные славистические центры. Так, в Японии в 1955 г. был основан Славистический Центр на о. Хоккайдо. В 1958 г. стал выходить ежегодник “Славистические исследования” (на японском языке), от которого в 1983 г., к 25-летию его существования, отделился журнал, публиковавшийся на европейских языках, преимущественно на английском: “Acta slavica iaponica”. О первых десятилетиях развития японской славистики см.: [13]. Для японской науки славяноведение представляется изучением одного из регионов мира, охватывавшим первоначально всю Восточную Европу и Советский Союз. После 1991 г. к этому региону применяется новое название – “славянский евразийский мир”. Однако интенсивность его изучения не снижается, при этом России как непосредственному соседу уделяется основное внимание. Этот регион изучается также другими научными центрами в Японии. Одновременно ведется преподавание славистики в университетах Токио, Киото и других городов.

Близким по сути является подход к славяноведению и в Китае. Здесь в рамках Академии общественных наук (она объединяет в стране все дисциплины обществен-

ного профиля и гуманитарных наук, в отличие от Академии естественных наук) функционирует сильный Институт Восточной Европы, России и Центральной Азии (современное название), расположенный в Пекине. Институт был создан в марте 1965 г. и первоначально носил название Институт по изучению Советского Союза и Восточной Европы. В годы “культурной революции” его деятельность была временно приостановлена, но возобновилась в феврале 1976 г. После распада Советского Союза институт сменил свое название на нынешнее. В настоящее время в нем трудится более 100 исследователей, которые сосредоточили свои усилия на изучении экономических и политических систем входящих в его компетенцию стран, их внешней политики и национальных отношений. В Китае имеются центры и кафедры по изучению славистики в университетах Пекина, Шанхая, Харбина и некоторых других городов. Помимо изучения славянских языков основное внимание уделяется исследованию преимущественно новейшей истории и современных политических процессов в славянских странах. Эти дисциплины рассматриваются в Китае как составная часть изучения международных отношений. В стране действует также всекитайская Ассоциация по изучению Восточной Европы, России и Центральной Азии. Для азиатских стран в общем комплексе их гуманитарных знаний славяноведение занимает периферийное место и является лишь одной из гуманитарных дисциплин (аналог – место востоковедения в славянской картине мира).

Наиболее распространены славистические исследования в США, где помимо научного интереса существуют и другие стимулы к их развитию, заключающиеся в существовании многочисленных славянских диаспор, которые оказывают заметное влияние на направление деятельности университетов и научных центров. Разнообразными областями славистики занимается более 10 тыс. человек. Американской славистике, равно как и западноевропейской, свойственна тенденция разводить историческую и филологическую составные части славяноведения, хотя обе они интенсивно изучаются. Схожая ситуация (хоть и не столь масштабная) сложилась в славистике Канады и Австралии, где также имеются деятельные славянские диаспоры.

В западноевропейских странах славяноведение присутствует повсеместно (традиционно наиболее развито в Германии). Но до сих пор там не всегда учитывается вклад славянских народов в культуру и науку европейской цивилизации, к которой они по праву принадлежат. Среди большинства населения Западной Европы господствует геополитический стереотип представлений о европейской цивилизации как о романо-германской “оси”. Слова о Европе “от Атлантики до Урала” (другой вариант – “Европа, включая Россию до Владивостока”) остаются на поверхности политической жизни, а существование реального славяно-романо-германского треугольника как основы европейской цивилизации еще не вошло органической частью в общественное сознание. При открытии XII Международного конгресса славистов в Кракове в 1998 г. президент Польши А. Квасьневский выразил уверенность, что “славянский фактор вскоре придаст нашей старой Европе новую динамику, укрепит ее идентичность и поможет положить конец историческим спорам” (см.: [14]). Но эти слова остаются пока только пожеланием, связанным со вступлением ряда славянских стран в Европейский Союз.

Не ушло окончательно в прошлое и противопоставление католических стран православным, хотя культура и тех, и других (как и вся европейская цивилизация) стоит на фундаменте христианства и античного наследия, эллинского и римского. Такое противопоставление разделяет не только Запад Европы от ее Востока, но и сами славянские народы, что оказывает в ряде случаев существенное влияние на их национальное самосознание. В целом можно сказать, что в современных условиях для неславянских стран, входящих в европейскую цивилизацию, славяноведение помогает создать более полную и реальную картину ее истинного облика и по новому взглянуть как на историю европейской цивилизации, так и на ее геополитические основы. Уяснение этих проблем и их укоренение в общественном сознании прежде

всего западноевропейских стран призвано сыграть большую роль в судьбах всего континента, оказать существенное влияние на структуру их гуманитарных знаний.

В славянских странах, помимо собственного страноведения (что также является частью славистики), под славяноведением подразумевается изучение главным образом инославянской среды – истории, культуры, литературы и языков других славянских народов. Славяноведение имеет не только научное, но и общественно-политическое значение. Принадлежность собственного народа к славянской группе играет значительную роль в национальной самоидентификации [15], поэтому в системе гуманитарных знаний этих стран славяноведение представлено весьма полно, хотя не всегда бывает четко выделено институционно. С другой стороны, славяне – европейцы. В каком соотношении выступают эти две стороны их национальной самоидентификации?

На протяжении долгих веков письменной истории славянских народов ни они сами, ни их летописцы, а позднее первые историки не сомневались в своей принадлежности к Европе, а проще, по традиции своего времени, к христианскому миру. Правда, первая третица в европейской христианской цивилизации проявилась в противопоставлении Рима и Византии как духовных центров, вылилась в схизму, в раскол между католицизмом и православием. Этот раскол внес новые черты в политическую жизнь славянских стран, поскольку демаркационная межа пролегла по населенной ими территории и разделила их на две части. Завоевание турками Византии и падение Константинополя нанесло сильный удар по православию. К тому времени южные славяне подпали под османское иго, и на политической карте Европы остались два славянских государства – Польша и Россия, которая после ликвидации последних остатков зависимости от Золотой Орды быстро набирала силу и становилась заметной фигурой в европейской политике. Отношения между ними, принявшие в XVI–XVII вв. форму соперничества и вражды, определили на долгие годы положение в славянском мире.

Польша, которая после объединения с Великим княжеством Литовским (Люблинская уния 1569 г.) стала именоваться “Речь Посполитая”, превратилась к тому времени в одно из крупнейших европейских государств. Своеобразная идеология польской шляхты (“сарматизм” [16], отличавшийся национальной мегаломанией, словенной исключительностью и мифологическими представлениями о происхождении шляхты от сарматов, завоевавших еще в древности польское славянское население) осложняла становление славянского самосознания. Однако оно находило отражение в широко распространенной легенде о трех братьях – Чехе, Лехе и Русе, от которых якобы произошли славянские народы⁴. Отношения между Польшей и Россией значительно обострились в результате католической экспансии на православные восточнославянские земли, входившие в Речь Посполитую (Брестская уния 1596 г.), и особенно польской интервенции в период Смутного времени в Российском государстве в начале XVII в. Именно в противостоянии с Россией в значительной степени складывалось польское национальное самосознание. Тогда укрепились стереотипные представления о превосходстве польской культуры, строившиеся на дихотомии “цивилизация” – “варварство” (последнее приписывалось России) (о стереотипах взаимного восприятия русских и поляков см.: [18]). Они оказались весьма живучими. В их свете Польша представала как форпост Европы против “варварской” России. Принадлежность к Европе в глазах носителей польского самосознания стояла выше чувств этнической общности с другими славянскими народами, не говоря уже о России, враждебное отношение к которой принимало зачастую формы открытой русофобии. Отголоски этих представлений сохранились до сих пор.

Когда мы констатируем факт, что славянские народы в политическом плане никогда не были дружной семьей, это относится в первую очередь к русско-польским отношениям. Ответным эхом была русская полонофобия, коренившаяся первоначально в противостоянии православия и католицизма, а в XVIII и XIX вв. дополнив-

⁴ О происхождении легенды и этапах ее развития см.: [17].

шаяся политическими факторами (разделы Польши и прекращение существования независимого Польского государства в конце XVIII в., польские восстания 1830 г. и 1863 г.). В Новое время, особенно в XVIII и XIX вв., когда складывалась современная культура всех европейских народов, в том числе и славянских, российско-польское противоборство находилось в резком контрасте с развитием представлений об отношениях славянских народов между собой, причем не только в России.

Начавшееся национальное возрождение славянских народов, проживавших как в границах Австрийской, так и Османской империй, принесло с собой идеи славянской взаимности (солидарности). Наиболее активно эти процессы протекали среди чехов, а также словаков, давших в конце XVIII – первой половине XIX вв. ряд выдающихся ученых и мыслителей, основоположников славяноведения и идеологов славянской солидарности. Имена Й. Добровского, П.Й. Шафарика, Ф. Палацкого, Я. Колара, Л. Штура и многих других свидетельствуют о том, что проблемы славяноведения заняли одно из центральных мест в системе гуманитарных знаний и политической мысли этих народов к середине XIX в. Такое положение не было случайным: сам факт принадлежности к великой семье славянских народов служил одним из действенных стимулов развития национальных культур и процесса самоидентификации. Весьма ярко их отразил Я. Колар в лирико-эпической поэме “Дочь Славы” (1824 г.) и в труде “О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими” (1836 г.). Его творчество получило широчайшее распространение и стало источником вдохновения культурных и политических деятелей ряда славянских народов.

Бурное возрождение славянских народов, ставшее одним из феноменов европейской истории XIX в., встречало в западноевропейских странах настроенное отношение со стороны одних политических сил (в частности, в австрийских правящих кругах, которые иногда были не прочь использовать национальные движения в борьбе с мадьярскими политическими стремлениями) и откровенно враждебное отношение со стороны других. Среди последних выделялись те немецкие политические силы, которые стремились к объединению германских земель в единое государство, включавшее также все земли Австрийской империи. В национальных движениях славянских народов они видели препятствие на пути к осуществлению своих целей. Отсюда проистекала враждебность. Она проявилась в термине “панславизм”, появившемся в конце 1840 г. в ходе мадьяризаторской политики Венгерского королевства, а стремление словацкого народа к развитию своего языка и культуры оценивалось как стремление к образованию единой славянской нации во главе с Россией. Отсюда выводилась ложная альтернатива – либо мадьяризация, либо потеря свободы и подчинение России.

Термин “панславизм” вызвал бурную полемику и мгновенно был подхвачен германской националистической прессой пангерманского толка. Он сразу же стал боевым лозунгом в борьбе против национального возрождения славянских народов, прежде всего против чехов и словаков. Изначальная тенденциозность, сознательно смешивавшая воедино стремления славянских народов к развитию своей культуры и подозрения в захватнических планах России, делали его удобным инструментом для различных политических спекуляций. В момент своего появления он не отражал реальной действительности и свидетельствовал скорее о степени зрелости германского национализма, который использовал его как знамя для объединения своих сил против гипотетического врага (подробнее см.: [19]). Некоторые славянские деятели восприняли идею и развили ее в позитивном духе, сконструировав соответствующие теории. Но их построения никогда не достигали того уровня разработанности, какой отличались пангерманские концепции. Термин “панславизм” получил распространение накануне и в ходе революций 1848 г. в Европе, а также широко использовался пангерманскими кругами в последующие десятилетия, особенно в годы проведения германской “мировой политики”, накануне Первой и Второй мировых войн. Он до настоящего времени бытует в русофобских публикациях на Западе. Приходится с сожалением констатировать, что его наличие в политическом лексиконе свидетель-

ствуется о негативных представлениях на Западе о славянских народах и отражается на славяноведении некоторых западных стран.

Одновременно с западными славянами пробуждались и сербы, хорваты, словенцы, болгары. Их положение весьма различилось. Первыми начали политическую борьбу сербы, подняв в 1804 г. восстание против османского ига. Наиболее тяжелым было положение болгар, но и они сделали много для возрождения своей культуры и приложили усилия для начала народного образования уже в первой половине XIX ст. Среди южнославянских народов получили широкое распространение надежды на помощь со стороны России в деле их национального освобождения. За такими ожиданиями стояли определенные политические реалии: с конца XVII в. Россия вела ряд войн с Турецкой империей, нанося ей все более тяжелые поражения. Велика была ее помощь и сербскому вооруженному восстанию начала XIX в.: без ее поддержки Сербия не смогла бы добиться (хотя бы на первых порах) политической автономии и консолидироваться. Российское покровительство играло позитивную историческую роль. Опираясь на него, в сербских правящих кругах в середине 40-х годов XIX в. созрела программа объединения всех сербских земель в рамках одного государства [20].

Если представить картину славянского мира, сложившуюся в середине XIX в., то она будет разительно отличаться от нынешней. На политической карте Европы существовало только одно независимое славянское государство – огромная Российская империя. Сербия оставалась зависимым княжеством в составе Османской империи. Все остальные славянские народы входили в состав других многонациональных государств: Австрийской империи (чехи, словаки, хорваты, словенцы, частично сербы), Османской Порты (болгары и югославянское население Боснии и Герцеговины). Некоторые славянские народы тогда еще не оформились, либо делали лишь первые шаги на пути развития национального самосознания (о некоторых теоретических проблемах становления наций см.: [21]). В идеологическом плане положение было еще сложнее. В России развивались и противоборствовали два течения – славянофилы и западники. В правящих кругах страны, стоявших на принципах “теории официальной народности” и легитимизма, особенно после участия русских войск в подавлении революционного движения на территории Австрийской империи, в Венгрии в 1849 г., ни одно из них не пользовалось поддержкой. Различным идеям “славянской взаимности” в России, которые разделялись многими деятелями национальных движений славянских народов, противостоял польский мессионизм, видевший перспективу в объединении славян под руководством польского народа и противостоящий России. Среди славянских народов Австрийской империи были распространены идеи австрославизма, видевшего перспективу в достижении национально-культурной автономии в рамках Австрийской монархии и усиления в ней своего влияния. В широких массах южнославянских народов бытовали надежды на помощь России в деле национального освобождения. Идеи панславизма, в том виде как его рисовала западная пропаганда, особенно в германских землях, разделяли очень немногие лица как в России, так и среди других славянских народов.

Одним из них, и вероятно одним из первых и наиболее ярких представителей, был словак Л. Штур. Под влиянием поражения революции 1848 г. и связанных с нею надежд на обретение автономии он в 1851 г. написал трактат “Славянство и мир будущего” с явно панславистских позиций. В нем содержались призывы к интеграции славян под эгидой России, к принятию православия в качестве общей религии и русского языка как общеславянского литературного языка. Однако труд Л. Штура был издан только десять лет спустя после его смерти в переводе на русский язык в канун Славянского съезда в Москве и Петербурге в мае – июне 1867 г. в совершенно другой исторической обстановке, но он воспринимался славянофильскими течениями как один из программных документов съезда. Более широкие круги российской общественности встретили его довольно критически.

Интересную оценку дал несколько позднее этому противоречивому и спорному сочинению Л. Штура известный русский ученый А.Н. Пыпин: «В его взглядах на

Россию есть идеализация, есть незнание частных фактических ошибок; но это не помешало ему сделать и существенно верные замечания о русской внешней и внутренней политике – и указать, что в ней должно быть изменено, чтобы славянство могло довериться русскому союзу. Тем нашим шовинистам, которые в последние годы считали “расхолаживанием” всякое напоминание о наших внутренних нуждах и недостатках, было бы очень полезно вникнуть в приведенные сейчас слова Штура об этих предметах: они увидели бы, что для разумных славян даже с величайшей привязанностью к России, эти предметы составляют пункт величайшей важности, – такой, что без изменения в наших внутренних делах самый союз с Россией, столь крайне необходимый для славян, казался им невозможным» [22. С. 144–145].

Последующий период развития славяноведения был тесно связан с Восточным кризисом 1875–1878 гг. (восстание в Боснии и Герцеговине, сербско-турецкая война, апрельское восстание в Болгарии 1876 г., русско-турецкая война 1877–1878 гг.) и Берлинским конгрессом 1878 г. Итогом русско-турецкой войны (десятой за последние два столетия) было освобождение Болгарии, достижение полной независимости Сербией и Румынией, расширением территории Греции. На Балканах создалась система независимых государств. Однако последующее развитие событий принесло много неожиданностей русской общественности. Вскоре последовали внешнеполитическая переориентация Сербии и Болгарии на Германию и Австро-Венгерскую империю (так она стала называться после дуалистических преобразований 1867 г.), падение российского влияния на Балканах, дальнейшее развитие концепций австрославизма в Габсбургской монархии среди населявших ее славянских народов (этому способствовала и оккупация Австро-Венгрией в 1878 г. Боснии и Герцеговины). В России послышались разочарованные голоса о “неблагодарности” славян, что сопровождалось падением интереса к славянскому вопросу, разложением славянофильских концепций. При этом забывалось, а может быть, просто не было тогда осознано обществом, что на каждом историческом этапе любой народ и его политическая элита руководствуются своими непосредственными национально-государственными интересами, и эти интересы меняются с каждым серьезным поворотом в международной обстановке.

Последующее развитие русской общественной мысли и национального самосознания, связанных со славяноведением, актуализировало три проблемы, вокруг которых не стихают дискуссии и живая полемика. Каждая из этих проблем выражена дихотомией. В дополнение к ведущим еще с XIX в. проблемам “Россия и славяне” и “Россия и Запад” в XX в. добавилась сравнительно новая – “Россия и Восток”. Последнюю развили до уровня концепции русские ученые, оказавшиеся в эмиграции. Эти три проблемы сохраняют свое значение вплоть до настоящего времени. Вместе они составляют своего рода треугольник, отнюдь не равнобедренный, в котором пульсирует общественная жизнь. Именно эти дискуссии свидетельствуют о том, что проблемы славяноведения востребованы нашим временем, что они выполняют определенную социальную функцию, обладают значительным общественным потенциалом. Более того, они входят непременно компонентом в наши гуманитарные знания, в ту их часть, которая имеет дело с определением и выработкой концепции национально-государственных интересов.

Именно это обстоятельство явилось причиной гонений на славяноведение в России вскоре после установления большевистского режима в стране после октябрьского переворота 1917 г. Оно не вязалось с исповедуемым большевиками коммунистическим мессионизмом, целями мировой революции и провозглашенным стремлением к созданию Всемирного Союза Советских Социалистических Республик (преамбула Конституции СССР 1924 г.), идеологией пролетарского интернационализма. Кафедры славяноведения в университетах страны были закрыты, многие ученые-слависты подверглись репрессиям [12; 23], славяноведение изгнано из Академии наук. Такое положение удерживалось примерно два десятилетия, что нанесло науке серьезный ущерб. Советское руководство решительно отмежевывалось от любых форм славянского движения или сотрудничества как от “реакционных”. В то же время другие славянские страны руководствовались своими национально-государственными интересами и задача-

ми. То, что раньше было принято именовать общеславянскими проблемами, отошло на второй план. Кризис “славянской идеи” был налицо.

Острее всего это почувствовала и ощутила на себе многочисленная русская эмиграция, оказавшаяся за пределами страны, причем в значительной мере в славянских государствах (Югославии, Болгарии, Чехословакии и Польше). Именно эта среда сформулировала основные черты возникшего после Первой мировой войны и Гражданской войны в России кризиса “славянской идеи” и выдвинула для России альтернативную ей концепцию – теорию евразийства [24]. Кризис, по мнению основателей евразийства (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и др.), состоял в забвении славянами общеславянских задач, в отказе оплатить исторический долг перед Россией, в выдвигании лозунга “славянство без России”. Эти упреки кажутся списанными с наших дней, с рубежа XX и XXI вв. Но они были выдвинуты еще в начале 20-х годов XX ст. Такая переключка побуждает обратить более пристальное внимание к сложившемуся тогда положению, проследить аналогию между прошлым и настоящим.

Ситуация стала меняться только накануне Второй мировой войны в связи с расистской пропагандой германского нацизма, проповедью превосходства немецкой нации и изображения славянских народов как “недочеловеков”, участь которых – на свалке истории, а их территория – будущее “жизненное пространство” германской нации [25]. Тогда были сделаны первые шаги по возрождению славяноведения в Советском Союзе. В Московском Университете были воссозданы соответствующие кафедры вначале на историческом факультете (1939 г.), а позднее – на филологическом (1943 г.), созданы предпосылки для возвращения славяноведения и в Академию наук. Но потребовались многие годы, чтобы вырастить новые кадры, возобновить научные традиции. Второй раз за первую половину XX в. политическая составляющая “славянской идеи” была востребована. Первый раз это произошло в годы Первой мировой войны (см.: [26]), а Вторая мировая война не только подхватила эстафету, но и усилила ее. Но возрождение в стране славяноведения как науки было для тогдашнего советского руководства побочным продуктом.

Советская пропаганда сразу же после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз взяла на вооружение лозунг славянского единства в борьбе против общего врага. По инициативе советского руководства в Москве был создан Всеславянский комитет, стали проводиться всеславянские митинги и другие мероприятия. Расчет оказался правильным, политический эффект – большим. Он свидетельствовал о том, что идеи славянской взаимности существовали у славянских народов не только на уровне сознания, но и подсознания [27]. Эти чувства многократно усиливались сознанием угрозы, которая исходила для всех них от германского нацизма. Его антиславянские установки перешли в годы войны из сферы пропаганды в область конкретного планирования и легли в основу «Генерального плана “Ост”» [28] – родного и большего брата всемирно известного “холокоста”. Не удивительно, что именно славянские народы, и в первую очередь русский, сыграли решающую роль в разгроме фашистского блока в Европе.

Дальнейшие события показали, что советские лидеры и коммунистические руководители тех стран, где после войны установились режимы советского типа, использовали славяноведение только как инструмент в своих собственных интересах, политически эксплуатировали его. Особенно ясно это стало после разрыва отношений в 1948 г. между Советским Союзом и Югославией (лучше сказать – между И.В. Сталиным и И.Б. Тито). Но отодвинув идеи славянской взаимности на задний план, социалистические режимы интуитивно продолжали использовать реально существовавшие между славянскими странами чувства культурной и этнической близости для налаживания сотрудничества в рамках социалистического содружества в течение всего периода его существования.

Распад этого содружества, падение социалистических режимов в результате “бархатных революций”, развал многонациональных Советского Союза и Югославии в 1989–1991 гг. породили третий кризис не только “славянской идеи”, но и всей системы отношений между славянскими государствами и их соседями. В условиях за-

рождавшегося тогда “нового мирового порядка” произошло то, что получило название “энтропии славянского мира” (термин “энтропия” взят из астрономии и обозначает разбегание звезд, рассеяние энергии). Более того, на постюгославской территории распад федеративного государства привел к этногражданским конфликтам и кровопролитию. Такое развитие событий явилось неизбежным следствием социальных и национальных экспериментов социалистических режимов в своих странах, в частности их национальной политики и оставленной ими в наследство социальной структуры общества [29].

Ситуация во всех странах постсоциалистического региона – как славянских, так и неславянских – имеет много общего. Все они смотрят на Запад. Все стремятся присоединиться к НАТО, а также вступить в Европейский Союз (ряд из них уже преуспел в достижении этих целей). В таких условиях ни о какой славянской солидарности речь идти не может. Положение в значительной степени напоминает прежние кризисы славянских макроидеологических доктрин. Как будто для того, чтобы подчеркнуть эту схожесть, в России скачкообразно возрос интерес к евразийским концепциям. Но отмеченная схожесть – только внешняя, кажущаяся. Основное отличие – в совершенно иной ситуации, складывающейся во всем мире. Помимо становления новой конкретно-исторической системы международных отношений – “нового мирового порядка” с его тенденцией к созданию однополюсного мироустройства, следует отметить два взаимонакладывающихся процесса – глобализации и развития информатики. Оба они могут иметь для славянских стран непредсказуемые последствия. Если первое касается преимущественно политико-экономической сферы, второе относится к внутреннему миру, миру культуры, столь важному для любого народа.

Новые информационные технологии порождают новую культурную среду, которая способствует кризису как национального самосознания отдельных народов, так и индивидуальной идентичности отдельного человека, что ведет к утрате мировоззренческих ориентиров. Эта угроза осознается частью политических и интеллектуальных элит славянских государств, что порождает умеренный оптимизм и надежды на оживление культурного сотрудничества славянских народов. Следует особо подчеркнуть, что такое сотрудничество не направлено против кого-либо. Не противоречит оно и желаниям многих стран вступить в Европейский Союз и НАТО. Но оно отвечает их стремлениям сохранить свою национальную культуру, свои национальные ценности в рамках общей для всех них европейской цивилизации. В этих рамках славяноведение приобретает особое значение для их собственных гуманитарных комплексов, для сохранения своего национального самосознания.

Особое значение приобретают эти проблемы для восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов. Распад их единого федеративного государства дорого обошелся каждому из них. Предпринимаемые сегодня усилия в области экономической интеграции, а также развития политического сотрудничества не могут быть успешными без устранения “историографического суверенитета”, мифологических и политизированных взглядов на свою историю и культуру, которые расходятся с выводами мировой исторической науки. Анализ создавшегося положения в культуре и, шире, в системе гуманитарных знаний Украины и Белоруссии входит в России в задачу славяноведения. На современном этапе российское славяноведение приобрело объективно такое значение, что его можно без натяжки охарактеризовать как науку о национально-государственных интересах страны. Такая оценка не содержит преувеличений. Из этого мы и должны исходить в наших прогнозах его дальнейшего развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Мусорина Н.Г.* К вопросу о возникновении понятия “цивилизация” М., 1983 (ИНИОН, депонир.).
2. Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т. 15.
3. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М., 1991.

4. *Аринин А.Н., Михеев В.М.* Самобытные идеи Н.Я. Данилевского. М., 1996.
5. *Шпенглер О.* Закат Европы. М.-П., 1923.
6. *Тойнби А.* Постигание истории. М., 2002.
7. *Huntington S.* The Clash of civilizations? // *Foreign Affairs.* 1994. Summer.
8. Локальные цивилизации в XXI веке: столкновение или партнерство?: Материалы к междисциплинарной дискуссии, Кострома, 21 мая 1998. М., 1998; *Василенко И.А.* Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы исторического партнерства. М., 1999.
9. Сравнительное изучение цивилизаций мира (Междисциплинарный подход). Сб. статей. М., 2000; *Ерасов Б.С.* Цивилизации: Универсалии и самобытность. М., 2002; *Черняк Е.Б.* Цивилиография: Наука о цивилизации. М., 1996; *Яковец Ю.В.* История цивилизаций: Учебное пособие. М., 1997; *Сенилов Г.Н.* История цивилизаций: Краткий справочник. М., 1998; Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: Учебное пособие. М., 1999; *Бабушкин С.А.* Теория цивилизаций. Курск, 1997; *Семенникова Л.И.* Цивилизации в истории человечества: (Учебное пособие). Брянск, 1998; *Моисеева Л.А.* История цивилизаций: Курс лекций. Ростов-на-Дону, 2000.
10. Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988.
11. *Горяинов А.Н., Досталь М.Ю., Робинсон М.А.* Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.
12. *Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения: 1930-е годы. М., 2000.
13. *Ито Т.* История и современное состояние славяноведения в Японии // Советское славяноведение. 1980. № 2.
14. Славяноведение. 1999. № 1.
15. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982; Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1991; Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995.
16. *Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
17. *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала XVII века. СПб., 1996; *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999.
18. *Polacy a Rosjane.* Warszawa, 2000; Россия – Польша: Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.
19. *Волков В.К.* К вопросу о происхождении терминов “пангерманизм” и “панславизм” // Славяно-германские культурные связи. М., 1969.
20. *Никифоров К.В.* Сербия в середине XIX в.: (Начало деятельности по объединению сербских земель). М., 1995.
21. *Мыльников А.С.* Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания. XVIII–XIX вв. СПб., 1997.
22. *Пыпин А.Н.* Панславизм в прошлом и настоящем (1878). М., 2002.
23. *Горяинов А.Н.* Славяноведы – жертвы репрессий 1920–1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2; *Аксенова Е.П.* “Изгнание из стен Академии” (Н.С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5; *Ашинин Ф.Д., Алпатов В.М.* “Дело славистов”: 30-е годы. М., 1994.
24. *Вандалковская М.Г.* Историческая наука российской эмиграции: “евразийский соблазн”. М., 1997.
25. *Borejsza J.W.* Antislawizm Adolfa Hitlera. Warszawa, 1988.
26. *Фирсов Е.Ф.* Словацко-русское общество памяти Людовита Штура в России и идея славянского единства // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.
27. *Марьина В.В.* Славянская идея в годы Второй мировой войны: К вопросу о политической функции // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.
28. *Носкова А.Ф.* «Генеральный план “Ост”» (К итогам изучения в советской и польской исторической литературе) // Советское славяноведение. 1965. № 3.
29. *Волков В.К.* Этнономеклатура и распад государства: СССР и Югославия // Свободная мысль. 2000. № 9, № 10.



К 125-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ

Все дальше уходит в прошлое XIX век. Теперь уже приходится говорить об истории XIX столетия как о делах века позапрошлого. Однако увеличение временной дистанции несколько не умаляет исторической роли событий того времени. Одним из важнейших событий конца XIX века стала русско-турецкая война 1877–1878 гг., явившаяся заключительным этапом восточного кризиса 1875–1878 гг. Непреходящее историческое значение войны состоит прежде всего в том, что болгарский народ был освобожден от многовекового османского владычества, а Сербия, Черногория и Румыния получили статус независимых государств.

20 февраля этого года Институтом славяноведения РАН и Посольством Республики Болгария в Российской Федерации была проведена международная научная конференция на тему: “125 лет русско-турецкой войне”. В работе конференции приняли участие более 50 ученых из России, Болгарии, Молдавии. Всего было сделано 18 докладов. В данной публикации помещен ряд докладов и сообщений участников конференции.

Несколько докладов были посвящены международным аспектам войны и деятельности российской дипломатии в тот период: *В.Н. Виноградов* (ИСл РАН) и *В.М. Хевролина* (ИРИ РАН) рассмотрели роль канцлера А.М. Горчакова и Н.П. Игнатьева в формировании русской политики на Балканах. Вопросы отношения русского общества к войне были проанализированы в докладах *А.А. Улуняна* (ИСл РАН) и *И.Г. Воробьевой* (Тверской государственной университет). В докладе *А.В. Карасева* (ИСл РАН) были рассмотрены геополитические аспекты Восточного кризиса 1875–1878 гг., *П.А. Искендеров* (ИСл РАН) осветил проблему первого опыта “балканского миротворчества” (использования вооруженных сил различных государств на Балканах по решению международных форумов) после Берлинского конгресса. Начало Восточного кризиса и события, предшествовавшие русско-турецкой войне, были проанализированы *Е.К. Вяземской* (ИСл РАН). *М.Н. Зуев* (ИСл РАН) сосредоточил свое внимание на человеческих и материальных потерях России в ходе войны. *Л.В. Кузьмичева* (МГУ) в своем очень интересном докладе рассмотрела вопрос о русско-сербских отношениях на заключительном этапе войны, *Н.Н. Червенков* (Институт межэтнических исследований АН Молдовы) сделал доклад о роли бессарабских болгар в освобождении Болгарии. Любопытная переписка греческой королевы со своим отцом великим князем Константином Николаевичем в период русско-турецкой войны была представлена в сообщении *О.В. Соколовской* (ИСл РАН).

Спектр тем, рассмотренных участниками конференции не ограничивался русско-турецкой войной и Восточным кризисом 1875–1878 гг. *П. Куцаров* (Болгария) и *В.И. Косик* (ИСл РАН) рассмотрели в своих сообщениях русско-болгарские отношения после 1878 г. Доклад *О.Н. Исаевой* (Саратовский университет) был посвящен истории возникновения македонского вопроса. *И.Ф. Макарова* (ИСл РАН) осветила проблемы образа русского царя в народных представлениях болгар, а *Е.В. Белова* (МГУ) – причины и последствия переселения болгар на юг России в XVIII–XIX вв. *М.М. Фролова* (ИСл РАН) исследовала деятельность болгарских отрядов в русско-

турецких войнах XIX в. Большой интерес вызвало сообщение *Г.К. Венедиктова* (ИСл РАН) «К истории возникновения болгарского гимна “Шуми Марица”».

В письме посла Республики Болгарии в Российской Федерации И. Василева Президенту РАН академику Ю.С. Осипову в связи с проведением научной конференции, посвященной 125-летию русско-турецкой войны 1877–1878 гг., было подчеркнуто, “что Болгарская академия наук, ее гуманитарные институты – исторические и филологические – длительное время поддерживают плодотворные научные контакты с Институтом славяноведения РАН. Этот Институт является тем научным учреждением РАН, которое подготовило первую академическую историю Болгарии на русском языке, вышедшую в 2-х томах в конце 50-х годов XX в. Впоследствии в Институте было создано много монографий и коллективных трудов, исследующих историю, культуру, литературу и язык болгарского народа. Многие книги издавались в рамках совместных научных проектов с участием болгарских ученых”. В заключение посол поблагодарил коллектив Института славяноведения РАН за “большой вклад в развитие болгаро-российских научных связей” и выразил надежду, что это плодотворное сотрудничество будет и в дальнейшем успешно развиваться.



© 2003 г. В. Н. ВИНОГРАДОВ

КАНЦЛЕР А.М. ГОРЧАКОВ В ВОДОВОРОТЕ ВОСТОЧНОГО КРИЗИСА 70-Х ГОДОВ XIX ВЕКА

Война с Турцией 1877–1878 гг. началась в России в обстановке невиданного народного энтузиазма. Ф. М. Достоевский записывал в те дни в “Дневнике писателя”: “Все поздравляют друг друга с войной” [1. С. 94].

Но посреди всеобщего подъема существовал очаг озабоченности, опасений и тревог, и этим очагом был Кабинет министров. Над канцлером А.М. Горчаковым, Александром II и многими сановниками старого поколения довлел синдром Крымской войны. В течение 20 лет своей службы во главе Министерства иностранных дел князь упорно и успешно избегал вовлечения России в европейские конфликты, создавая тем самым внешние условия для проведения реформ. Однако волна общественной солидарности с южными славянами грозила погрузить страну в неведомые испытания с непредсказуемым исходом. И он, и его коллеги по правительству: М.Х. Рейтерн (финансы), А.Е. Тимашев (внутренние дела), П.А. Валуев (государственные имущества) считали Россию к войне неподготовленной. Воспоминания о крымской эпопее не вдохновляли. Страна вышла из нее с астрономическим государственным долгом – 800 млн. руб., и понадобилось 15 лет, чтобы выкарабкаться из финансовой ямы. М.Х. Рейтерн подал записку на высочайшее имя: в случае новой войны наступит дефолт – упадут в стоимости ценные бумаги, возникнут трудности с уплатой процентов по внешним долгам, появится необходимость в новых займах на обременительных условиях. Обнищание населения, пугал министр царя, создаст благоприятную почву для революционной пропаганды. Понадобится двадцать лет, чтобы вернуться к состоянию казны на 1876 г. Рейтерн запросился в отставку. Тревожился военный министр Д.А. Милютин: “Война... была бы поистине великим бедствием. Страшное внутреннее расходование сил усугубилось бы еще внешним напряжением: вся полезная работа парализовалась бы, и непомерные жертвования могли бы быстро привести государство к полному истощению” [2. С. 165–166; 3. С. 1]. Но, как солдат, он в отставку подавать не стал.

Преобразование вооруженных сил не было завершено. Лишь в 1874 г. Милютину удалось преодолеть сопротивление рутинеров (великих князей Михаила и Николая Николаевичей, фельдмаршалов А.И. Барятинского и Ф.Ф. Берга) и добиться введения всеобщей воинской повинности. Флот на Черном море так и не был построен, все денег не хватало. Две “поповки”, в сущности - бронированные, круглые по форме тихоходные баржи, громко именовавшиеся “броненосными силами”, в счет не шли [4. С. 196]. Они годились только для защиты своих берегов. Ни перебросить

водным путем войска, ни высадить крупный десант в тылу противника не представлялось возможным. На театре морских операций - полное превосходство турок.

Сеть железных дорог находилась в зачаточном состоянии. Безбрежное пространство и бездорожье – то, что считалось раньше преимуществом России, в условиях быстротечных войн конца XIX в. обернулось недостатком, можно было проиграть войну, не успев подвести войска к границам. В направлении Балкан, к Румынии, вела единственная одноколейка с ограниченной пропускной способностью. В самой Румынии положение было не лучше, “чугунку” здесь строил прусский предприниматель - авантюрист Б. Штрусберг и, как с удовлетворением отмечал Ф. Энгельс, восхитительно непрочно. В дальнейшем пришлось наспеш сооружать своими силами линию Бендеры – Галац, о чем Н.М. Гарин-Михайловский рассказывал в романе “Инженеры”.

А на кону стояло будущее России – вырвется ли она из тисков отсталости на путях реформ или преобразования придется свернуть, и страна останется вековать на обочине европейской цивилизации.

Все сказанное относится к факторам, видимым для любого аналитического ума. Существовали и иные, скрытые от общественности и известные лишь узкому кругу лиц. Первой задачей дипломатии перед войной является ограничение числа вероятных противников, за что приходится платить, иногда очень дорого. Демарши в Вене показали, что она заломит за свой нейтралитет непомерную цену. Ее вождения распространялись на Боснию и Герцеговину. Глава внешнеполитического ведомства граф Д. Андраши возражал против образования на Балканах крупного славянского государства, будь то Сербия или Болгария. С подписанием Будапештской конвенции тянули до последнего дня. Итоги войны по ней, о чем мало кто знал (даже посол в Константинополе Н.П. Игнатъев), заранее урезывались. Предстоявшая австро-венгерская оккупация двух провинций тяжелым гнетом легла на совесть А.М. Горчакова.

И еще одно обстоятельство следует учитывать. Горчаков ведь был царским министром и знал заранее, что лидеры балканской элиты после освобождения обратят свои взоры не к самодержавию, а в сторону Запада с его соблазнительным рынком, передовым строем, конституционными порядками и гражданскими свободами, позиции же официальной России в регионе не окрепнут, а ослабнут. Вот констатация Горчакова, относящаяся к 1866 г.: “Что укрепляет наше традиционное влияние на Востоке, так это ненависть к туркам. Будучи освобождены от ига, христиане последуют дорогой своих интересов. Мы для них – прежде всего конкуренты, которым нечего продавать, и у которых нечего покупать”. Малым балканским странам угрожает “внутренняя анархия, внешнее соперничество, открывающее поле для иностранного влияния” [5. Отчеты. 1866. Л. 97, 91].

В числе компонентов международных отношений признательность не значит, внешняя политика - особа холоднокровная, начисто лишенная сердечных порывов. О. Бисмарку принадлежат слова: “Освобожденные народы не благодарны, а требовательны”, и подтверждал он их примерами, взятыми из истории российско-балканских связей [6. С. 244]. Так что никак нельзя сказать, что тревоги министров возникли на пустом месте.

А.М. Горчаков не был бы собой, если бы не исчерпал всех возможностей разрешить возникший в 1875 г. на Балканах кризис мирным путем. Его ведомство без устали разрабатывало проекты реформ, которые процеживались сквозь “австрийское сито” и поступали на “расправу” в Лондон, после чего от них мало что оставалось. Последний луч надежды мелькнул на исходе 1876 г., когда представители держав, собравшись в Константинополе, при больших усилиях Н.П. Игнатъева еще до формального открытия конференции договорились о программе реформ, являвшейся, по мнению Горчакова, приемлемым минимумом: объединение Боснии и Герцеговины, образование двух Болгарий – Восточной и Западной со столицами в Тырново и Софии, со своей администрацией, свободой вероисповедания, равенством прав христиан и мусульман [7. С. 210]. Высокая Порта, при закулисной поддержке Великобритании, сорвала договоренность. Когда дипломаты собрались на официальное заседа-

ние при полном кворуме, раздался пушечный салют, и министр иностранных дел Савфет радостно объявил, что его величество султан даровал подданным конституцию со всеми полагающимися жителям правами, и стало быть хлопотать о каких-то особых привилегиях для христиан нет причин. Послы разошлись несолоно хлебавши.

Еще одно совещание дипломатов (Лондон, март 1878 г.) выработало что-то вроде ходатайства перед султаном о реформах на базе достигнутых в Константинополе договоренностей. Британцы обусловили даже этот робкий демарш согласием Петербурга на роспуск уже сосредоточенной в Бессарабии армии, но поступивший от Порты отказ положил конец завязавшейся было переговорами суете.

Возможности мирного урегулирования были исчерпаны, содержать бесконечно переброшенный в Бессарабию ударный кулак не было никакой возможности. 12 (24) апреля 1877 г. Александр II подписал в Кишиневе манифест о войне. В официальных документах Генштаба ее цели формулировались так: “Вырвать из власти турок ту христианскую страну, Болгарию, в которой они совершили столько злодейств” [8. С. 210]. Немногочисленные голоса, твердившие что-то о трудностях и жертвах, были заглушены. Ф.М. Достоевский именовал их носителей в гневе и презрении “общечеловеками” и “самооплевниками” и призывал: “Война! Мы всех сильнее!” [1. С. 100, 94].

Канцлер А.М. Горчаков оказался меж двух огней. Считая, что от возможной диверсии Австро-Венгрии удалось отгородиться Будапештской конвенцией, он сосредоточил силы на том, чтобы предотвратить вмешательство Великобритании. В ноте главы Форин оффис графа Э. Грея от 6 мая 1877 г. говорилось, что Англия не допустит никаких территориальных изменений без ее согласия и не сможет сохранить нейтралитет, если военные действия станут угрожать Суэцкому каналу, Персидскому заливу, не говоря уже о Константинополе и Черноморских проливах ([5. Ф. Канцелярия. 1877. Д. 71. Л. 341–350]; подробнее об англо-русских отношениях в годы войны см.: [9]). Послу в Лондоне П.А. Шувалову пришлось пуститься в тяжелые объяснения, “доказывая”, что самодержавию и во сне не снилось вторгаться в Египет и иные места, столь же отдаленные. Начертание широкомасштабной, если не сказать фантастической картины возможных российских поползновений свидетельствовало о том, что кабинет ее величества запасается предложениями для вмешательства в войну.

А.М. Горчаков, с санкции императора, дал необходимые успокоительные заверения: захват Константинополя “не входит в планы” России, а вопрос о Проливах “для сохранения мира и всеобщего спокойствия” должен быть “урегулирован с общего согласия на справедливых и действительно гарантированных условиях” [10. С. 80–82]. Таким образом, важные, действительно имевшие общеевропейское значение проблемы самодержавие заранее отдавало на суд ареопага держав, в котором обычно пребывало в меньшинстве. Сам император еще в октябре 1876 г. дал британскому послу О. Лофтусу “священное честное слово”, что он не думает посягать на Константинополь, и отрещивался от наследия Петра Великого и Екатерины II. В июле следующего года царь, почему-то втайне от канцлера и военного министра, повторил это заверение [2. С. 308–309; 11. Р. 323].

Будучи связан Будапештской конвенцией и выданными Англии авансами, стремясь предотвратить постороннее вмешательство в противоборство с Турцией, Горчаков хотел локализовать масштабы войны. Он надеялся, что не потребуются пересекать Балканский хребет. Условия мира, приемлемые для Османской империи и держав, рисовались ему следующим образом: Болгария до гряды гор – автономное княжество, турецкие крепости подлежат срытию, чиновники – удалению; Южная Болгария, Босния и Герцеговина получают учреждения, признанные державами отвечающими их потребностям; Сербия, Черногория и Румыния подлежат расширению, последней, возможно, удастся предоставить независимость; Россия возвращает себе Южную Бессарабию и приобретает порт Батум. Она “не станет противиться” вознаграждению Австро-Венгрии Боснией и Герцеговиной.

Однако планы Горчакова остались на бумаге. У него обозначились резкие разногласия с командованием. Генеральный штаб полагал необходимым, чтобы “раз и навсегда отделаться и от Турции, и от Англии”, занять Константинополь, что взорвало бы всю обстановку. А главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, считал, что “дипломатия вообще вмешивается в дела, до нее не касающиеся” [7. С. 215].

Во внешнеполитическом ведомстве произошел открытый раскол. Под влиянием блистательных успехов на первом этапе войны казалось, что Высокая Порта вот-вот будет повержена. Окрепили позиции сторонников кардинального решения Восточного вопроса. Горячая встреча российских воинов на болгарской земле, героическое участие дружин ополчения в боях убедили самого Горчакова – да и напор оппонентов сказался, – сколь несправедливым будет раздел Болгарии. Наступление на его первоначальные позиции велось в резкой форме, его наметки были отвергнуты, его осмотрительность и осторожность стали восприниматься как свойственная старости нерешительность и трусость, его призывы к благоразумию игнорировались. Грустно и больно читать дневниковые записи Д.А. Милютина: “Князь Горчаков вместе с графом Шуваловым готовы наложить узду на собственные наши действия” (16 мая); “Дипломатия наша не перестает копошиться и противодействовать военным планам” (7 июня); “Этот выживший из ума эгоист продолжает артачиться” (6 ноября) [12. С. 169, 178, 241].

Решающее объяснение сторон произошло 30 мая на совещании у Александра II: “Бедный наш канцлер разыграл роль зайца, травимого несколькими борзыми, особенно по вопросу о будущем Болгарии” [12. С. 174]. Князя Горчакова по сути дела отстранили от руководства внешней политикой. Он продолжал разрабатывать варианты мирного урегулирования (в июне месяце – четыре) и хлопотать в Вене и Лондоне о смягчении обстановки (см.: [13]). Напрасный труд! На первый план выдвинулись Н.П. Игнатъев, Д.А. Милютин и начальник дипломатической канцелярии при Главной квартире Дунайской армии А.И. Нелидов. На долю А.М. Горчакова выпала неблагоприятная задача – предотвратить столкновение с Великобританией и Австро-Венгрией, ибо министр иностранных дел последней, граф Д. Андраши, вел себя так, будто Будапештской конвенции не существовало, и находился в постоянном контакте с лондонским кабинетом в видах противодействия России.

Канцлер пытался опустить на землю своих ярких оппонентов, в несвойственной ему запальчивой манере он говорил Игнатъеву: “Нас теперь не хотят слушать, но пройдет некоторое время и положение изменится; когда тиф и лихорадка будут истреблять нашу храбрую армию, когда погибнут 40 или 50 тысяч человек... то скажут, что мы были правы, будут просить нас уладить дела...” Князь как в воду глядел, но слышал в ответ лишь недовольное брюзжание, а в письме Игнатъева жене появилась раздраженная реплика: “Старик вместе с Шуваловым ухитрились испортить блестящее положение наше и наготовить беды государю и России потому, что не хотели молчать, а чувствовали потребность говорить” (9 июня) [14. С. 42, 47].

Я далек от мысли превозносить Горчакова, годы делали свое, он одряхлел, утратил прежнюю энергию, честолюбие переросло в старческое тщеславие. Он ревниво относился к более молодым коллегам, видя в них своих преемников на посту министра, хотя пора было подумать об уходе на покой. Но громадный опыт подсказывал ему: надо добиваться компромисса сейчас, а не дожидаться, пока в Черном море появятся английские и турецкие броненосцы (последние – под командованием адмирала по имени Хоббарт-паша), в сложившейся ситуации номер с политикой свершившихся фактов не пройдет.

Неудача под Плевной, трудная четырехмесячная осада крепости и “сидение на Шипке” привели к тому, что интервенционисты в Лондоне и Вене несколько поуспокоились и на время утихли. Но стоило российской армии в начале 1878 г. вырваться из теснин гор на равнину и устремиться к Константинополю, как для Горчакова возобновилось время тяжелых испытаний. Приближение россиян к Проливам в Уайтхолле восприняли как бедствие, обыватель уверовал, что над британскими интереса-

ми нависла угроза, в прессе разыгралась вакханалия шовинизма, парламент послушно вотировал военные кредиты. Форин оффис заговорил языком ультиматумов, требуя поставить мирное урегулирование под контроль Европы. Вена ассистировала Лондону, Д. Андраши вспомнил о Будапештской конвенции и протестовал против создания единой Болгарии. Весть о перемирии 19(31) января 1878 г. вызвала резкие протесты двух кабинетов. Великобритания пустила в ход бронированный кулак, 13 февраля эскадра адмирала Хорнби, в вопиющем противоречии с нормами международного права, вошла в Дарданеллы и бросила якорь в Мраморном море у Принцевых островов. Одним из кораблей командовал сын королевы Виктории и зять Александра II, муж его единственной дочери Марии герцог Эдинбургский Альфред.

На вызов последовал решительный ответ с российской стороны: великий князь Николай Николаевич получил приказ брата – вступить в Константинополь. Главнокомандующий, однако, немножечко схитрил и, с согласия турок, занял местечко Сан-Стефано в 12 верстах от столицы, а царю сообщил, что вошел в ее предместье [2. С. 422].

19 февраля (3 марта) 1878 г. Игнатъев подписал в Сан-Стефано прелиминарный (предварительный) мирный договор. Не надо думать, что он продиктовал условия поверженному противнику. Турки тянули время, сопротивлялись столь упорно, что у Игнатъева мелькнула мысль прервать переговоры, и это привело в ужас великого князя Николая Николаевича, опасавшегося столкновения с Великобританией. Некоторые российские требования, например, о выдаче броненосцев, уполномоченные Высокой Порты все же отвергли. Подписанный договор предусматривал коренной перелом в положении балканских народов и решительное изменение в соотношении сил в регионе. Турция признавала государственную независимость Сербии, Черногории и Румынии, что явилось вехой исторического значения в развитии этих стран, они получали значительные территориальные приращения. В Боснии и Герцеговине османы обязывались провести реформы. Болгария возрождалась как “самоуправляющееся, платящее дань княжество с христианским правительством” в широких пределах от Черного до Эгейского морей. Россия возвращала себе Южную Бессарабию, к ней отходили на Кавказе Батум, Карс, Ардаган и Баязет.

Кабинеты Лондона и Вены встретили Сан-Стефанский договор в штыки. Д. Андраши заявил послу Е.П. Новикову, что ни один министр монархии не даст согласия на расширение Болгарии к югу от Балканского хребта, и он будет сопротивляться этому “любимыми средствами”. “Даже с помощью войны?” – задал вопрос дипломат. Андраши уклонился от прямого ответа и повторил: “Любыми” [5. Ф. Канцелярия. 1878. Д. 111. Л. 253–254].

Почему же А.М. Горчаков, предвидя яростное сопротивление держав, все же пошел на заключение прелиминарного мира? Представляется, что прав К. Косев, полагающий, что с точки зрения канцлера это был тактический ход, создававший известное поле для маневра [15. С. 405]. Канцлер надеялся, что оппонентам на предстоящем международном конгрессе будет сложнее отвергнуть то, на что турки дали согласие.

А.М. Горчакова ждало разочарование, он терял последние позиции в попытке обеспечить сносные условия для обсуждения трактата, ограничив дискуссию важнейшими, имевшими общеевропейское значение пунктами. Оппоненты настаивали: весь договор, от доски до доски, подлежит анализу, все статьи окончательного акта принимаются только с санкции держав. Европейский форум стремились обратить в судилище над победителем. О позиции Великобритании свидетельствовали пушки броненосцев адмирала Хорнби на стамбульском рейде. “Разрыв с Англией почти неизбежен”, – телеграфировал Александр II своему брату 18 (30) марта [18]. Далее следовало указание: в предвидении столкновения с британским флотом занять, с согласия Порты, высоты по берегам Босфора, не вступая в Стамбул. Главнокомандующий не счел возможным выполнять царский приказ – занятие Босфора пришлось бы осуществлять силой: “Я не считал себя вправе добровольно вызывать столкнове-

ние с Великобританией, в то время как нашей дипломатией делались всевозможные попытки к улаживанию затруднений и к предотвращению пагубной для нас войны” [5. Ф. Гл. архив. У-А2. 1878. Д. 1. Л. 526–530; 16. Вып. 4. С. 114–115].

Главнокомандующий растерял прежний боевой задор и ушел за политические кулисы, предоставив действовать на авансцене прежде третируемым дипломатам. И он был не одинок.

Великого князя вежливо удалили в отставку, заботясь о его подорванном ратными трудами здоровье. В Петербурге на вокзале его встречал император, опасаясь, что брата по дороге во дворец освищут прохожие. На смену Николаю Николаевичу назначили героя севастопольской обороны Э.И. Тотлебена. А с юга на север двигались солдаты и тянулись обозы – по приказу военного министра в предвидении схватки с Австро-Венгрией на границу с ней передислоцировались войска – пять пехотных, три кавалерийских дивизии и две отдельные бригады. Тотлебен пришел к выводу, что, ввиду нехватки тяжелой артиллерии, он не в состоянии воспрепятствовать прорыву английских броненосцев в Черное море [16. Вып. 3. С. 87; 17. С. 369].

Позволю себе не согласиться с утверждением, содержащемся в высококомпетентном труде “История внешней политики России. Вторая половина XIX века”: Англия “сухопутными войсками не располагала, а ее флот не мог нанести России сколько-нибудь серьезного ущерба” [18. С. 194]. Очень даже мог, и опыт Крымской войны о том свидетельствовал. Атаки эскадры адмирала Нэпира на Балтике удалось отбить, но ценой каких усилий? Чтобы воспрепятствовать высадке на берег десанта союзников (дивизия генерала Б. д’Илье, 10 тысяч штыков) по побережью была рассредоточена целая армия в 270 тыс. солдат и офицеров, далеко превосходящая силы, сражавшиеся в Крыму и на Кавказе [19. С. 456–457]. Таковы были оперативные возможности военного флота.

Тотлебен доложил Милютину свои соображения на случай продолжения войны, “полагая противниками Турцию, Англию и Австрию, а союзником Сербию”. Он считал возможным “сохранить то, что достигнуто в прошлую кампанию”. Вырисовывался оборонительный вариант ведения операций. В дальнейшем генерал поскромнел еще больше и считал необходимым занять позиции по линии Балканского хребта [10. С. 29; 20]. Броненосцы адмирала Хорнби легко могли проникнуть в Черное море – и прорыв не понадобился бы, и тогда – берегись берега!

26 марта 1878 г. Милютин записывал в дневнике: «Как ни прискорбны для нас всякие подобные уступки после победоносной войны, не могу, однако же, не признать, что еще прискорбней будет рисковать новой войной против половины Европы. Все благоразумные люди полагают, что при настоящих обстоятельствах война была бы для нас бедствием, во всяком случае, она не могла бы доставить нам более, чем теперь, выгодный мир и более поддержать “достоинство” России» [12. С. 35]. Таково было мнение наиболее авторитетных военных деятелей России. Оставалось уповать на дипломатию. Загнанная в угол изоляции, она стремилась расколоть фронт оппонентов, попытавшись договориться с одним из них. О. Бисмарк, к совету которого прибегли, рекомендовал обратиться к австрийцам, они продадутся дешевле. Пелена монархической солидарности не спала с глаз Александра II, поддавался иллюзиям и Горчаков, отсюда сентенция вроде следующей: “Союз трех императоров более, чем когда-либо, является ключом к миру” [5. Ф. Канцелярия. 1878. Д. 81. Л. 379].

В Вену снарядили Н.П. Игнатьева. Миссия окончилась полнейшим фиаско, Австрия, по его словам, собиралась “без выстрела и усилия” получить все выгоды победителя. Андраши настаивал на разделе Болгарии, оккупации Боснии и Герцеговины австро-венгерскими войсками, переходе под власть Габсбургов стратегически важного острова Ада Кале на Дунае, на сокращении земельных приращений для Черногории и многом другом. Он хотел обратить “сербское племя” в “вассальное владение короны Св. Стефана” [21. С. 38–40]. На том блистательная дипломатическая карьера Игнатьева завершилась, посылать на конгресс в Берлине творца Сан-Стефанского мира означало размахивать красной тряпкой перед лицом оппонентов. Автор не

давно вышедшей в США биографии Н.П. Игнатьева Д. МакКензи замечает: “Создатель Сан-Стефано и Андраши были несовместимы” [22. Р. 582].

Оставалось постучать в лондонскую дверь. П.А. Шувалов договорился с маркизом Р. Солсбери о предварительных условиях мира и съездил согласовать их в Петербург. Договоренность на совещании в Царском Селе сочли тяжелой, но все же приемлемой – выбора не оставалось. По пути из Царского Села в столицу Милютин сказал Шувалову: “Мы не можем больше сражаться. Мы не можем этого ни по финансовым, ни по военным соображениям” [23. С. 101].

Потери России во имя освобождения балканских народов составили 248 654 человека убитыми, ранеными, искалеченными, замерзшими [24. С. 179]. Люди в здравом уме сознавали – одолеть неприятельскую коалицию Россия не в состоянии [12. С. 35; 23. С. 101]. Что же – бросить еще 50–100–150 тысяч жертв в пасть Молоха? Самая надежная и бессмысленная война – это та, в которой успех недостижим даже теоретически, победа не видится даже в дымке десятилетий. Разгромить Австро-Венгрию не позволила бы Германия, одолеть укrywшуюся за морями Британию можно было разве что во сне. Зато вполне реально выступала другая перспектива: предприимчивый князь О. Бисмарк, воспользовавшись тяжбой на востоке Европы, учинит новый разгром Франции, и тогда немецкая гегемония на континенте из кошмарного видения превратится в явь. Оставалось одно – пройти через чистилище конгресса.

А.М. Горчаков собирался в Берлин словно на похороны – “доигрывать заранее проигранную партию” [25. С. 206]. По словам канцлера, на конгрессе пришлось столкнуться “со злой волей почти всей Европы” [26. С. 368]. Растаяли последние надежды на то, что Бисмарк отплатит признательностью за ту роль, которую Александр II сыграл при объединении Германии. Рассуждая без гнева и сантиментов, почвы для подобной надежды и не существовало. Бисмарк действовал в соответствии с железной логикой империализма: надлежало нанести еще один удар по Франции и утвердить гегемонию рейха на континенте. Ни того, ни другого Россия не допустила бы без ожесточенного сопротивления. В 1875 г. усилиями Александра II и Горчакова была загашена спровоцированная немецким канцлером военная тревога. На роль младшего германского партнера самодержавие не годилось. Более того, такой партнер нужен был именно для противодействия России на случай, если бы Берлин приступил к улаживанию на свой манер ситуации на Западе. А добровольно на эту должность записывалась Австро-Венгерская монархия. Смена руководства у руля внешней политики в Вене в 1871 г. означала и смену курса: Ф. Бейст еще питал реваншистские в отношении Пруссии замыслы, Д. Андраши представлял венгерскую магнатскую группировку, горой стоявшую за сотрудничество с Германией и согласную на амплуа младшего партнера при ней. Но услуги Вены и Будапешта следовало оплачивать, поддерживая ее устремления на Балканах, а не противодействуя им.

Князь А.М. Горчаков во время конгресса много болел, третий российский уполномоченный, П.П. Убри, в основном молчал по причине безыюности, тяжесть переговоров выпала на долю П.А. Шувалова. “Честный маклер” О. Бисмарк свел свою роль к тому, что ставил вопрос на обсуждение и удалялся, оставляя Шувалова на растерзание маркиза Р. Солсбери и графа Д. Андраши. Представители Франции и Италии вели себя смиренно, хотя в коридорах и выражали сочувствие российской делегации.

Итоги известны – условия Сан-Стефано были сильно урезаны к пагубе для России и балканских народов. И тогда родился миф, донныне существующий, будто нерадивость дипломатов, их неспособность настоять на условиях, адекватных достигнутой в войне победе, позволила похитить у армии заслуженные ею лавры. Крестным отцом легенды можно считать И.С. Аксакова, произнесшего громоподобную речь перед соратниками-славянофилами: “Не собрались ли мы хоронить великое, святое дело, хоронить русскую славу, русскую совесть?”. Западные державы “срывают с России победный венец и преподносят взамен шутовскую с гремушками шапку”. “Слово немецет, мысль останавливается перед этим колобродством русских дипломатических

умов, перед этой грандиозностью раболепия” [27. С. 6, 8, 20]. Можно себе представить впечатление 80-летнего А.М. Горчакова от этой и подобных ей филиппик.

Но история вершит свой суд не под влиянием настроений момента и не под воздействием страстей человеческих. Суждения современников и суд истории подчас разнятся. Берлинский конгресс нельзя считать некими “дипломатическими Каннами”, учиненными над Россией и балканскими народами. Программу-максимум, зафиксированную в Сан-Стефано, осуществить не удалось, что можно было предсказать заранее. Но и в обедненном виде результат трех лет восстаний и войн впечатляет. Он в корне отличается от предвоенных проектов А.М. Горчакова, Османской империи был нанесен удар, от которого она уже не оправилась. Рухнула насчитывавшая почти сто лет доктрина status quo – сохранения ее территориальной целостности. Вместо принципа автономии балканских государств утвердился принцип их независимости, которую обрели Румыния, Сербия и Черногория. Учиненное в германской столице противоестественное расчленение болгарских земель не выдержало испытания временем и рухнуло через шесть лет. И главное – после 500 лет небытия возродилась государственность болгарского народа. Российская дипломатия считала образование Восточной Румелии не только временным, но и кратковременным, и консулы не должны были “терять из виду, что конечной целью нашей политики является объединение этой провинции с Болгарским княжеством”, – инструктировал товарищ министра иностранных дел Н.К. Гирс назначенного послом в Стамбул князя А.Б. Лобанова-Ростовского [10. С. 215]. Даже далекий от балканских дел и реакционный по воззрениям П.А. Шувалов свидетельствовал: “Отделение Северной Болгарии от Южной могло быть только искусственным”. В беседе с Р. Солсбери он предлагал назвать первую Болгарией довольной, а вторую – неудовлетворенной. Д.А. Милютин был уверен в том, что “образуемая на севере Балкан маленькая автономная Болгария послужит ядром для объединения всего болгарского народа” [23. С. 95], а генерал Э.И. Тотлебен позаботился о создании материальной базы объединения, оставив в княжестве немалое количество оружия и подумав даже о конском составе для кавалерии [12. С. 69–70].

Началось самостоятельное развитие молодых балканских государств. И естественным эпилогом этого этапа их истории стала первая балканская война 1912 г., в которой объединенные силы Болгарии, Сербии, Черногории и Греции наголову разгромили войска некогда грозной Османской империи.

О другом “злом деле” Берлинского конгресса – разрешении на оккупацию Боснии и Герцеговины австро-венгерскими войсками – человечество вспомнило в июне 1914 г., когда в Сараеве прозвучали выстрелы Г. Принципа, оборвавшие жизни эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги и явившиеся поводом для развязывания Первой мировой войны.

В заключение приведем слова “великого старца” британской политики В.Ю. Гладстона, произнесенные в парламенте в разгар Восточного кризиса: “Вне всякого сомнения, Россия защищает славян... Она оказала им услуги столь величественные и основательные, какие когда-либо великая держава оказывала угнетенному народу” [28. С. 113]. Мне остается лишь присоединиться к этому высказыванию. Больше Россия сделать не могла, не рискуя вступить в войну, безнадежную и бесконечную, и утратить в ее ходе статус великой державы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений. Л., 1983. Т. 25.
2. *Татищев С.С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 2.
3. *Газенкамф М.А.* Мой дневник 1877–78 гг. СПб., 1908. Прил. 2.
4. Россия и Черноморские проливы. М., 1999.
5. Архив внешней политики Российской империи.
6. *Бисмарк О.* Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 2.
7. Восточный вопрос во внешней политике России. М., 1978.

8. *Киняпина Н.С.* Внешняя политика России во второй половине XIX века. М., 1974.
9. *Виноградов В.Н.* Герои Шипки и туманы Лондона // Новая и новейшая история. 1979. № 6; 1980. № 1.
10. Освобождение Болгарии от турецкого ига. М., 1964. Т. 2.
11. *Sumner V.H.* Russia and the Balkans 1870–1880. Oxford, 1937.
12. Дневник Д.А. Милютина. М., 1949. Т. 3.
13. *Чернов С.Л.* Россия на завершающем этапе Восточного кризиса 1875–1878 гг. М., 1984.
14. *Игнатъев Н.П.* Походные письма 1877 года. М., 1999.
15. *Косев К.* Бисмарк. Източният въпрос и българското освобождение. София, 1978.
16. Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуострове. СПб., 1899. Вып. 3; СПб., 1900. Вып. 4.
17. Международные отношения на Балканах 1856–1878. М., 1986.
18. История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997.
19. *Тарле Е.В.* Крымская война. М., 1950. Т. 2.
20. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. ВУА.Д. 7906. Л. 75–76.
21. После Сан-Стефано. Записки графа Н.П.Игнатъева. Петроград, 1916.
22. *MacKenzie D.* Count N.P.Ignat'ev – the father of lies? New York, 2002.
23. П.А.Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г. // Красный архив. 1933. № 4.
24. История тыла и снабжения русской армии. Калинин, 1955.
25. *Лопатников В.А.* Пьедестал. Время и служение князя А.М. Горчакова. СПб., 2002.
26. Канцлер А.М. Горчаков, М., 1998.
27. *Аксаков И.С.* Речь, произнесенная в Московском славянском благотворительном комитете. Берлин, 1878.
28. Новая и новейшая история. 1978. № 2.



© 2003 г. И. Ф. МАКАРОВА

РУССКИЙ ЦАРЬ В НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БОЛГАР

Вскоре после окончания военной кампании 1877–1878 гг. русский исследователь В. Качановский совершил путешествие по северо-западной Болгарии с целью сбора фольклорного материала. Результатом экспедиции стала публикация в 1882 г. объемного тома “Памятников болгарского народного творчества”, в материалах которого помимо прочих сюжетов присутствует весьма любопытная разработка тех из них, которые отражают представления болгарского народа, связанные с образом русского царя. Обнаруживаются они, в частности, в исторических сказаниях о судьбе двух последних (причем, в обоих случаях мифических) болгарских царей – Константина и Асеня. В текстах речь идет о судьбе наследников болгарской династии после завоевания страны турками. При этом вопрос тесно увязывается с русской тематикой. Согласно логике повествования, Россия в этих сказаниях становится местом спасения потомков болгарских царей, а русская правящая династия оказывается напрямую связана с болгарской. Столь неординарная постановка вопроса в свете событий русско-турецкой войны 1877–1878 гг. представляет особый интерес, поскольку позволяет по-новому взглянуть на причины горячей и порой иррациональной преданности простых болгар личности монарха далекой и чужой страны.

Первое из записанных В. Качановским сказаний относится к известному в греческом фольклоре песенному циклу о смерти царя Константина. В болгарских землях этот образ совместил в себе сразу три исторических персонажа – Константина Великого, последнего византийского императора Константина Палеолога и последнего тырновского царя Ивана Шишмана. В болгарском сказании речь идет о завоевании турками Константинова царства и чудесном спасении двух его сыновей в России [1. С. 235–236]. Все события трактуются через призму небесного предопределения: накануне роковых событий царице снится вещий сон – небо раздваивается, месяц тонет в крови, звезды падают на землю и лишь Стожары спасаются бегством на далеком севере. В “точном” соответствии с предсказанием страну завоевывают турки, царь Константин погибает, а оба наследника находят приют в “славной России”. Заканчивается песня загадочным пророчеством о том, что спасшимся царевичам суждено наследовать царство.

Прямым логическим продолжением данного сказания является повествование о судьбе еще одного якобы последнего болгарского царя – Асеня [1. С. 216–217]. В тексте речь идет о завоевании Болгарии турками, бегстве Асеня в Россию и установлении родственных связей с русской правящей фамилией. События развиваются следующим образом: в России Асень проживает инкогнито, скрываясь под личиной пастиуха; женится на простой русской крестьянке, но родившемуся от этого брака сыну

суждено взять себе в жены дочь русского царя и влиться в состав российской правящей династии (в другом варианте сказания эта миссия выпадает на долю дочери Асения). В наследство от своего некогда монаршего болгарского отца юноша получает корону древних царей Болгарии и некие важные документы, хранителем которых отныне становится русский правящий дом. Затем он отправляется на родину предков для поиска тщательно спрятанной и завещанной ему царской сокровищницы, находит ее в окрестностях Софии в с. Урвич и благополучно переносит в Россию.

Так согласно логике народного мифотворчества Россия превращается в страну проживания прямых потомков болгарских государей, место хранения их регалий власти и казны. Причем не просто место проживания. Эти потомки оказываются среди наследников русского престола. Таким образом отчасти сбывается пророчество из сказания о смерти царя Константина – сыновья последнего болгарского царя наследуют царство, но не болгарское, а русское. В то же время, учитывая факт переноса регалий власти и династии, само русское царство отныне вполне может восприниматься народным сознанием неким подобием “чудесного” продолжения прерванной турецким завоеванием болгарской государственности.

Популярность в народных массах преданий и мифов подобного рода имела далеко идущие политические последствия. Сама логика повествования, строящаяся в значительной степени на обыгрывании антиномий “свой – чужой”, лишала далекую Россию и фигуру ее правителя статуса “чужих”, переводя их в ранг “своих”. Общественное сознание формировало почву для создания мифа, в рамках которого русский царь превращался в своеобразный аналог болгарского царя в изгнании, политическая миссия которого на Балканах была соответствующей – возрождение “своего”, Болгарского царства.

Думается, именно в этом контексте следует воспринимать и бытовавшее в народной среде мнение, что причиной многочисленных русско-турецких войн было стремление русского царя “возвратить болгарам царство” [2. С. 189]. Стоит ли говорить, что в контексте представлений такого рода сама постановка вопроса о наличии политической или иной корысти у российского государя выглядела абсолютно дикой.

При анализе приведенных сказаний возникает вполне понятное искушение объять их последними рецидивами средневекового мифотворчества, записать в разряд уникальных, т.е. нетипичных, и тем самым предельно локализовать их значение в общей системе менталитета болгар. Однако существуют данные, хотя и немногочисленные, что в XIX в. они не были в полном смысле атавистичными, а продолжали развиваться, впитывая в себя политическую конкретику.

Любопытная информация на этот счет содержится, в частности, в “Записках” Л. Каравелова, повествующих об его путешествии по болгарским землям в 60-х годах XIX в. В г. Шипка ему довелось повстречаться с нищим старцем, зарабатывавшим на жизнь исполнением старинных песен и принадлежавшим к гильдии гусяров-профессионалов [3. С. 227–228]. Главными населенными пунктами, где гусяры зимовали и обменивались собранными песнями, были г. Битоля и с. Балдево Татарпазарджикского округа. От этого гусяра Каравелов и услышал еще одно, на этот раз откровенно политизированное рассуждение о проживании истинных царей болгар в России. Отвечая на вопрос о своем возрасте, гусяр упомянул, что помнит еще те времена, когда болгарками правила царица Катерина, царь Павел, затем Александр, Николай и наконец нынешний государь Александр II. В ответ же на попытку Каравелова возразить, что в Болгарии они никогда не правили, поскольку царями болгар являются султаны, гусяр заявил, что его собеседник видно еще слишком молод и глуп, раз не знает, что “султаны - это цари турок, а наши цари живут в Московии” [3. С. 227].

Очевидцем высказываний подобного рода оказался в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и русский писатель В.В. Крестовский. В г. Систове, в доме богатого торговца Вылко Павурджиева он неожиданно стал свидетелем развернутого рассуждения хозяина на данную тему [4. С. 374]. Объясняя присутствие в своем доме

и в домах других болгар портретов русских царей, он отнес это на счет древней традиции, передаваемой из поколения в поколение. Согласно этой традиции, родители тайно показывали детям изображение того или иного русского царя, поясняя, что это “наш истинный, законный, православный болгарский царь”, “которого ожидаем и которому служим”. Самому В. Павурджиеву это говорила в детстве его мать. Сейчас он, в свою очередь, повторяет это же своему сыну, который, несмотря на свои молодые годы, прекрасно усвоил, что хотя в данный момент над болгарами господствует иноверец-султан, однако на севере существует другой царь – истинно законный государь, “который придет и освободит болгарский народ от ига”. Стремясь объяснить иностранцу распространение воззрений такого рода, хозяин даже не пытался обосновать причину совмещения в народном сознании фигуры царя болгар и русских – этот тезис не вызывал у него никаких сомнений. В своих пояснениях он делал акцент исключительно на необходимости передачи этой информации из поколения в поколение, поскольку для народа, по его мнению, она была жизненно необходимой: “царь - это знамя, символ, вековое понятие”, “без царя нельзя”.

Однако, констатируя наличие в обыденном сознании болгар представлений о существовании болгаро-русских династических контаминаций, вряд ли стоит объяснять их возникновение лишь желанием народных масс иметь, во что бы то ни стало “своего”, отличающегося от турецкого правителя царя. Не исключено, что катализатором формирования воззрений такого рода могли стать некоторые конкретные события XVI–XVIII вв.

Одним из первых невольно могло оказаться распоряжение константинопольского патриарха Иоасафа, предписавшего в 1561 г. всем епархиям своего диоцеза регулярно поминать в церковных службах имя московского государя. Это распоряжение имело по-существу формальный характер и сопровождало церемонию признания Константинопольской патриархией царского достоинства Ивана IV. Но текст здравицы был составлен таким образом, что в глазах неискушенной аудитории мог послужить толчком для возникновения представлений о существовании определенной связи между правителем современной Руси и некогда свергнутой турками местной династией. Основанием для этого могла послужить в общем-то стандартная, но в сложившихся условиях весьма двусмысленная формулировка: без каких-либо дополнительных пояснений прихожанам приходилось регулярно слышать в церквях здравицу русскому царю, в отношении которого употреблялось местоимение “наш” и который ставился в один ряд с древними “своими” царями. В тексте однозначно говорилось: “Поддай Господи многолетнее здравие благоверному и благочестивому Царю нашему Ивану как и прежним древним царям” [5. С. 111]. Сохранились сведения, что и после смерти Ивана IV данная практика не была отменена. Так, например, в XVII в. константинопольский патриарх Константин Лукарис утверждал, что имя Михаила Романова по-прежнему присутствует в текстах церковных служб [6. С. 14].

Другим важным источником для народного мифотворчества, возможно, стала информация о судьбе реального потомка видинской ветви династии Шишмановичей Ростислава Срацимира и представителя тырновской ветви болгарской династии, оставшегося в истории под именем Шишмана III. Известно, что после подавления Второго Тырновского восстания (1686 г.) Р. Срацимир (один из его непосредственных руководителей) нашел убежище в Московском государстве. Он получил от русского правительства имение в Смоленской губернии и стал родоначальником дворянского рода Ростиславичей-Дубровских. О судьбе Шишмана III, провозглашенного участниками Первого Тырновского восстания (1598 г.) новым болгарским царем, историкам ничего достоверно не известно. Сохранились лишь сведения, что после разгрома восстания в народе ходили упорные слухи, что Шишманович не погиб, а бежал в Россию [7. С. 711]. Однако независимо от достоверности этих слухов, сам факт их циркуляции мог послужить отправной точкой для народного мифотворчества.

Созданию благодатной почвы для распространения среди болгар легенд с русской направленностью способствовало и традиционное распространение на Бал-

канах настроений мессианско-эсхатологического толка. В данном случае речь идет о популярности различного рода предсказаний и пророчеств, предрекавших гибель империи османов. С течением времени они стали приобретать все более определенную прорусскую направленность. Если в середине XVI в. александрийский патриарх Иоаким находил в Апокалипсисе всего лишь намеки на будущее возвышение Руси [5. С. 151–152], то в XVII в. посещавшие Москву греки уверяли, что вера в освободительную миссию России стала на Балканах уже общераспространенным явлением [8. С. 353]. А согласно наиболее популярной в XVIII–XIX вв. версии древнего, но в оригинале довольно туманного пророчества Геннадия Схолария (XV в.), источником предначертанной гибели Османской империи прямо называлась Россия, народ которой, “соединившись со всеми языками, желающими мстить Измаилу, его победит...” [9. С. 113]

После начала прямых военных столкновений России с Турцией настроения мессианского характера получили реальную политическую подпитку. Тем более, что и Петр I, и Екатерина II открыто провозгласили освобождение турецких христиан в качестве своей непосредственной внешнеполитической задачи. Неудивительно, что в XIX в. свидетельства о популярности в народе представлений об освободительном предназначении России начинают приобретать массовый характер. Так, посетивший Балканы в 1845 г. русский путешественник архимандрит П. Успенский отмечал, что здесь не только греки и славяне, но и турки имеют “пророческую уверенность” в неизбежности победы русских над исламом и взятии ими Царьграда [10. С. 3]. В 1860-х годах Л. Каравелов также сообщал о распространенности в среде турок мистической веры (базирующейся на их неких священных книгах) в предначертанность захвата их земли “москочцами” [2. С. 194].

В болгарских землях легендарные представления о мессианском предназначении России нашли конкретное воплощение в создании собирательного образа будущего освободителя “дядо Ивана” (дедушки, старика Ивана), совместившего в себе и обобщенную фигуру русских государей, и России в целом. В историографии давно дискутируется вопрос о времени возникновения этого образа. Существует мнение, что, возможно, это XVI или даже XV вв. Эту точку зрения впервые высказал болгарский ученый Й. Трифонов [11. С. 124–199]. Он считал возможным связывать начало формирования образа с эпохой и именами Ивана III и Ивана IV. Трифонов предполагал, что факт женитьбы в 1472 г. Ивана III на византийской принцессе Софье Палеолог и признание в 1561 г. царского достоинства ее потомка Ивана IV могли послужить толчком для активизации устного народного творчества и превращения имени Иван в эпоним для обозначения не только русских правителей, но и России в целом. Позднее эту гипотезу, как малодоказательную, оспорил И. Снегаров. По его мнению, которого придерживается и большинство современных исследователей, зарождение образа следует датировать, скорее всего, концом XVIII в. и связывать с появлением русских войск на Северо-Востоке Балкан [6. С. 16–25]. Среди наиболее весомых аргументов сторонников этой точки зрения можно назвать следующие: популярность образа на территории, прежде всего, северо-восточной Болгарии (в то время как в других регионах он известен относительно мало или неизвестен вообще); отсутствие документальных свидетельств об его существовании, датируемых ранее второй четверти XIX в.; тот факт, что данный образ не успел или не смог органично войти в общую ткань болгарского фольклора, так и оставшись обособленным явлением.

Аргументация И. Снегарова убедительно опровергает основные посыпки гипотезы Й. Трифонова, но, к сожалению, не объясняет причин превращения именно имени Иван в наименование-символ царя-освободителя, так как во второй половине XVIII в. и на протяжении всего XIX в. правителей по имени Иван в России не было. Остается также совершенно непонятным появление в составе эпонима слова “дядо” – старик. Даже если связывать его возникновение не с конкретной личностью какого-либо царя, а с образом русского солдата-освободителя эпохи русско-турецких войн, данный эпитет выглядит несколько неуместно.

Возможно, ситуация может отчасти проясниться, если предположить, что источником для возникновения и распространения образа “дядо Ивана” стало появление в регионе не русских войск, а переселенцев – русских казаков-старообрядцев (некрасовцев). История этого переселения тесно связана с событиями булавинского бунта, вспыхнувшего на Дону в 1707 г. После гибели самого К. Булавина один из его ближайших сподвижников, атаман Есауловского городка Игнатий Федорович Некрасов, увел несколько тысяч казаков с семьями (в песнях говорится о 40 тыс.) на Кубань, бывшую тогда во владении крымских ханов. Беглецы поселились в районе современной Анапы, принесли хану присягу и в течение ряда лет составляли одну из наиболее боеспособных единиц его армии. Но на Кубани некрасовцы задержались недолго. Продвижение русских войск теснило их все дальше на юг. Когда войска Анны Иоанновны взяли Анапу, казаки были вынуждены обратиться к турецкому султану. Начав обосновываться на территории Османской империи в середине – второй половине XVIII в., к концу столетия они широко расселились на землях Добруджи и северо-восточной Болгарии (см. подробнее: [12]).

Хорошо известно, что в среде русского казачества на протяжении столетий большой популярностью пользовались песни, посвященные царю Ивану Васильевичу (Грозному). Не стали исключением и их общины на Северо-Востоке Балкан. Изучение современных болгарскими исследователями песен и обычаев некрасовских сел Татарица (Силистринско) и Казашко (Варненско) показывает их не только типологическое сходство, но зачастую и буквальное совпадение с фольклором донского и шире – южнорусского типа [13]. Однако в новой среде обитания многие из песен, особенно повествование о казанском походе Ивана Грозного, его победе над неверными и водружении креста над их столицей приобретали для слушателей из числа местного православного населения неожиданно актуальное звучание. Фигура же Ивана Васильевича – царя Ивана, т.е. деда Ивана – “дядо Ивана”, освободившего Русь, не могла не восприниматься болгарами иначе как эпически обобщенный образ древнего царя-освободителя. Так благодаря традиционному фольклорному багажу поселения русских старообрядцев могли стать в конце XVIII в. источником для распространения и популяризации среди православного населения северо-восточной Болгарии личности русского царя XVI в.

Если ситуация складывалась именно таким образом, то неудивительно, что среди болгар, сознание которых было хорошо подготовлено к восприятию сюжетов мессианского толка, этот образ быстро нашел многочисленных почитателей. Уже к середине XIX в. фигура “дядо Ивана” утвердилась в народном менталитете православного населения северо-восточной Болгарии. Здесь она ассоциировалась прежде всего с идеей освободительной миссии России. Имеется достаточно свидетельств современников о восторженном приеме местными жителями русских воинов в период компаний 1828–1829 и 1853–1854 гг., когда так или иначе всплывало имя “дядо Ивана”. В качестве примера можно привести, в частности, реакцию на появление в 1854 г. русских войск жителя г. Тутракана Ил. Блыскова, записавшего в своих воспоминаниях: “Какая радость для болгарского населения, которое сегодня видит про меж себя русское воинство. То, что предсказывали наши отцы и деды по поводу Дядо Ивана, то, что мы считали сказкой, сном, сегодня это произошло на наших глазах... О, радость, радость” [14. С. 161–162].

Популярность в народе обобщенного образа России и русского царя естественным образом подготавливали почву для соответствующего восприятия реальных правителей Российской империи XVIII–XIX вв. Список открывает откровенно мифологизированный образ Петра I. Исторически это вполне объяснимо. Петр вел активнейшую борьбу с Портой, первым позволил себе заявления об освободительной миссии русского оружия на православном Востоке и начал поиски политических союзников среди подвластных туркам народов. Именно под его командованием русские армии впервые появились в непосредственной близости от Дуная (Прутский поход 1711 г.). Не удивительно, что его имя было воспето южными славянами в песнях

(знаменитая сербская песня, известная обычно под названием “Песнь похвальная царю Петру Московскому”), а его образ нашел отражение в болгарской книжности (повесть конца XVIII в. о Петре Буро) и в фольклоре, воплотившись в фигуру победоносного царя-“рибаря”, что зафиксировано в “Памятниках” того же В. Качановского [1. С. 213–214].

Едва ли не меньшей популярностью пользовалась в Болгарии продолжательница дела Петра I императрица Екатерина II (в болгарском фольклоре обычно выступающая под именем царицы Катерины). Вот как, например, описывает отношение к ней в своем дневнике участник русско-турецкой кампании 1806–1812 гг. А.Г. Краснокутский [4. С. 71–72]. В 1808 г. по дороге в Стамбул ему довелось остановиться на отдых в крестьянском доме недалеко от г. Сливен. Каково же было его удивление, когда хозяин и члены его семьи, узнав на русских монетах изображение Екатерины II, принялись с восторгом покрывать его поцелуями. При этом они приговаривали, что давно слышали об этой великой государыне, которая хотела спасти их от жестокого ига.

Судя по многочисленным свидетельствам современников, большим уважением среди болгар пользовались также императоры Николай I и Александр II. Любовь простого народа к Николаю I, в годы правления которого Россия вела на Балканах целых две крупномасштабных войны (1828–1829, 1853–1854) была столь велика, что при жизни его имя превратилось в эпоним, образованный по аналогии с ранее известным – “дядо Никола”. По воспоминаниям Л. Каравелова именно под таким наименованием фигура этого русского царя обычно присутствовала в рассказах его бабушки [2. С. 194].

В общем политическом контексте эпохи русско-турецких войн любовь простого народа к потенциальному царю-освободителю вполне объяснима. Но с точки зрения здравого смысла, особенно учитывая негативную реакцию местных властей, она была все же чрезмерна. В этой связи можно вспомнить, в частности, серию молебнов за здоровье русского царя, прокатившуюся по болгарским землям в 1867 г. в связи с покушением на Александра II, которые сопровождались публичным всплеском антитурецких настроений. По этому поводу местные корреспонденты сообщали, что после церковной службы болгарские дети в экзальтации бегали по улице, крича: “Боже, дай здравие царю Александру и убий всех его врагов” [15. С. 270]. Ответная реакция турецкой администрации являлась крайне болезненной: было организовано специальное расследование с целью выявления организаторов акции и установления перечня церквей, в которых она проводилась.

Обычай болгар хранить в закрытых киотах наравне с иконами портреты русских царей также вряд ли можно назвать тривиальным явлением. В наиболее развернутом виде этот обычай был описан в 1870-е годы в записках В.В. Крестовского (сцена в доме торговца В. Павурджиева). Особо стоит лишь подчеркнуть, что по данным его информатора эта практика имела общераспространенный характер [4. С. 374]. В более ранний период (1850-е годы) упоминание о присутствии в домах изображений русских царей встречается, в частности, в корреспонденции Д. Миладинова [16. С. 54].

Если попытаться оценить в целом значение описанного феномена общественно-го сознания, необходимо особо подчеркнуть, что, несмотря на его относительно скромное место в общей системе менталитета болгар, оно далеко выходит за рамки собственно культурной сферы. Безусловно, в данном случае мы имеем дело с типичным мифом, имеющим, мягко говоря, весьма отдаленное отношение к реалиям политической жизни. Однако сам факт появления идеи династических контаминаций, хождение в среде болгар смутных фантазий на эту тему таил в себе политический заряд огромной силы. Эти фантазии порождали и поддерживали популярность в народе пророссийских настроений, совсем не лишняя для русской армии в эпоху нескончаемых войн с Турцией. Они же априорно и безоговорочно закрепляли за русским царем образ бескорыстного освободителя. Более того, можно даже предположить, что благодаря наличию данного феномена общественное мнение широких

народных масс болгар было к 1878 г. фактически подготовлено к принятию любого из представителей русского императорского дома в качестве “своего” законного государя. В отличие от всех вариантов с “чужими” европейскими принцами этот претендент показался бы народу не только наиболее естественным и логичным. В анналах народной памяти этому выбору очень быстро было бы найдено обильное информационное обеспечение в виде многочисленных сказаний, пророчеств, легенд, предзнаменований и т.д. Поэтому коронация болгарского царя русского происхождения была бы воспринята широкими слоями народа, скорее всего, не в политическом, а в эпическом контексте – как предсказанное исстари долгожданное возвращение на родину законного государя. Можно только догадываться, каков был бы “рейтинг” у такого правителя.

Однако история не признает сослагательного наклонения. Насколько известно, подобный вариант развития событий всерьез даже не рассматривался. Скорее всего, об описанном феномене общественного сознания ни в России, ни в Европе просто не знали. Ускользнул он, по всей видимости, даже от внимания современников-славянофилов. Между тем, после войны 1877–1878 гг., когда встала проблема возрождения болгарской правящей династии, данный фактор при его должной подаче в печати и апеллировании к мнению народа мог бы стать серьезным козырем в политике России на Балканах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Качановский В.* Памятники болгарского народного творчества. СПб., 1882., Вып.1: Сборник западноболгарских песен.
2. *Каравелов Л.* Избрани произведения. София, 1954. Т. 1.
3. *Каравелов Л.* Записки за България и за българите // Възрожденски пътеписи. София, 1969.
4. Руски пътеписи за българските земи XVII–XIX в. София, 1986.
5. *Муравьев А.Н.* Сношения России с Востоком по делам церкви. СПб, 1885. Т. 1.
6. *Снегаров И.* Културни и политически връзки между България и Русия през XVI–XVIII в. София, 1953.
7. *Златарски В.* Български въстания и опити за въстания до средата на XIX в. // България 1000 години. 927–1927. София, 1930. Т. 1.
8. *Каптерев Н.Ф.* Характер отношения России к православному Востоку в XVI–XVII столетиях. М., 1885.
9. *Мутафчиева В.* Предсказанията за края на Османската империя (към въпроса за руско-балканските културни връзки през XIX в.) // Studia balkanica. 8. Балкански културни и литературни връзки. София, 1974.
10. *Порфирий Успенский, архим.* Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1845 г. Киев, 1877–1880. Ч. 1.
11. *Трифонов Й.* Историческо обяснение на вярата в “Дядо Ивана” (Русия) у българския народ // Библиотека на Славянска беседа. 1908. Т. 1.
12. *Макарова И.Ф.* Русские подданные турецкого султана // Славяноведение. 2003. № 1.
13. *Романска Ц.* Фолклор на русите некрасовци от с. Казашко, Варненско. София. 1959; *Критска-Иванова Е.Ф.* Типология и еволюция свадобного обряда и фольклора в Болгарии (села Татарица и Казашко) // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989; *Кауфман Н.* Песни на казаците некрасовци от България // Българска музика. 1963. № 5.
14. *Блъсков Ил.* Петдесет годишнината от руско-турска война в 1854 г., наречена Кримска от моите лични наблюдения // Славянски глас. 1905. № 4.
15. Публицистика на Любен Каравелов (1860–1869). Статии, дописки, писма. София, 1957.
16. Братя Миладинови. Преписка. София, 1964.



© 2003 г. М. Ю. ДОСТАЛЬ

КАФЕДРА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ МГУ (1943–1948): К 60-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ

Кафедра славянской филологии МГУ была основана летом 1943 г. (о работе кафедры см.: [1; 2. С. 15–26; 3]). Это трудное детище войны имело своими предшественницами кафедру славяно-русского языкознания в МИФЛИ [4. С. 40–46] в Москве и ее преемницу в МГУ (после объединения данных учебных заведений) во время эвакуации в Ашхабаде и Свердловске.

Как нам удалось установить, приказ № 59 Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР (ВКВШ) об открытии отделения славянских языков и литератур в Московском и Ленинградском университетах был подписан его председателем С.В. Кафтановым 5 апреля 1943 г. В нем говорилось: “В целях подготовки научных и практических кадров в области славяноведения приказываю: 1. Организовать с 1943–44 учебного года на филологических факультетах Московского и Ленинградского университетов изучение славянских языков и литератур на базе теоретического и практического знания современных славянских языков: польского, чешского, сербохорватского, болгарского. 2. Организовать отделение славянских языков и литератур на филологических факультетах Московского и Ленинградского университетов. 3. Учредить в составе Московского и Ленинградского университетов кафедры: а) славянской филологии и б) истории славянских литератур” [5. С. 5].

Обстоятельства решения об организации кафедры славянской филологии ярко описаны одним из ее основателей, С.Б. Бернштейном, который в середине августа 1943 г. вместе с академиком Н.С. Державиным был приглашен на прием к министру (председателю ВКВШ) С.В. Кафтанову. Последний сказал им: “Должен вас, товарищи, обрадовать. Принято решение об открытии на филологическом факультете Московского университета отделения южных и западных славян. Еще до войны об этом усиленно хлопотал профессор Селищев¹. К сожалению, полгода назад он скончался. Теперь всю организационную работу по созданию нового отделения Министерство поручает Вам, Николай Севастьянович. Конечно, Вам нужен будет помощник. Эту работу мы поручаем Бернштейну. Теперь у вас есть полная возможность начать в широком масштабе подготовку славистов, в которых так остро нуждается наша страна”. Далее министр пояснил, что организация кафедры связана с причина-

Досталь Марина Юрьевна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ В письме Л.П. Берии от 14 июля 1942 г. А.М. Селищев писал: “...ЦК ВКП(б), рассмотрев мою докладную записку об усилении изучения славянских языков и литератур, постановил открыть кафедру славяноведения в Московском государственном университете. Я представил записку об организации преподавания на этой кафедре и о штатах ее” [6. С. 122].

ми не только научными, но и общественно-политическими, ввиду того, что в годы войны славянское движение и славянские сочувствия в СССР в русле антифашистской пропаганды всячески поддерживались: “Мы ежедневно сталкиваемся с трудными случаями, когда некому поручить переводы текстов с зарубежных славянских языков. Мы вынуждены часто обращаться за помощью к представителям славянской политической эмиграции в нашей стране, но они, как правило, очень плохо знают русский язык. Большие трудности языкового характера возникают при организации различных политических и общественных мероприятий”. В то же время министр показал полное неведение в отношении действительного положения дел со славянской филологией в СССР, сразу запланировав несоизмеримые масштабы и большой объем учебной работы: “Вчера я поручил ректору университета организовать прием на славянское отделение уже в этом году. Нужно провести прием студентов не только на первый курс, но и на второй из второкурсников русского отделения. На первый курс мы утвердили прием в сто человек (четыре группы). Мы рекомендуем начать с подготовки прежде всего специалистов по сербскому и чешскому языкам, так как именно по этим языкам нет специалистов, а потребность в них особенно велика” [7. С. 77].

С.В. Кафтанов ожидал, что приглашенные слависты с восторгом и воодушевлением воспримут его информацию. Однако они понуро молчали. В ответ на недомысленный вопрос министра С.Б. Бернштейн наглядно показал, в каком бедственном положении находится славянская филология в стране после закрытия всех славистических научных и учебных научных центров в Академии наук и университетах и репрессий в отношении ведущих славистов (о чем см.: [8; 9]). Разговор С.В. Кафтanova с Н.С. Державиным и С.Б. Бернштейном имел продолжение не только в виде сердечного приступа у академика, возмущившегося по поводу того, что министр обвинил в сложившемся положении самих славистов. Благодаря нескольким предшествовавшим разговору докладным запискам Н.С. Державина в руководящие органы и распоряжению С.В. Кафтanova лед тронулся, и кафедра славянской филологии на филологическом факультете МГУ получила самостоятельный статус. Формально ее возглавил академик Н.С. Державин, но фактически всю основную организационную и педагогическую работу вел С.Б. Бернштейн, тогда доцент. Утверждение последнего в должности заместителя заведующего кафедрой состоялось 16 августа 1943 г. на заседании деканата (“Зигзаги памяти”. Запись от 16 августа 1943 г.). К слову сказать, поскольку главный корпус МГУ на Моховой был разрушен бомбой 31 октября 1941 г., филологический факультет временно получил неотапливаемое помещение в здании средней школы на Малой Бронной. Там и проходила первоначально работа новой кафедры.

На плечи С.Б. Бернштейна легла нелегкая работа по выработке учебного плана (действующего в общих чертах по сей день), формированию коллектива преподавателей и, наконец, сама педагогическая работа: чтение курсов лекций, спецкурсов, руководство дипломниками и аспирантами, подготовка учебных пособий и т.д. Державин, бывавший в Москве наездами, предоставил ему полную свободу действий.

Формируя учебную программу, Бернштейн исходил отчасти из опыта дореволюционной славистики, выделив четыре цикла: чешский, польский, сербскохорватский и болгарский. Но в отличие от своих дореволюционных предшественников и постановки преподавания времен его учебы в МГУ на рубеже 1920–1930-х годов ученый большее внимание уделил практическому овладению славянскими языками, полагая, что такая направленность их изучения лучше отвечает потребностям времени.

Особенно трудно было найти в военной Москве квалифицированных преподавателей как теоретических дисциплин, так и живых языков. В 1943 г. С.Б. Бернштейну многое пришлось взять на себя. В его архиве сохранились краткие протоколы заседаний только что организованной кафедры, наглядно показывающие трудный про-

цесс ее становления². Мы использовали также данные его пока не опубликованных машинописных воспоминаний-дневника “Зигзаги памяти” и первоначального рукописного дневника.

Первое заседание кафедры состоялось 12 августа 1943 г. На нем присутствовали все ее наличные преподавательские силы в лице академика Н.С. Державина и доцента С.Б. Бернштейна. Обсуждался план Отделения южных и западных славян, составленный Р.И. Аванесовым и С.Б. Бернштейном. Проект был утвержден с некоторыми дополнениями и замечаниями Н.С. Державина, суть которых сводилась к необходимости включения в программу преподавания восточнославянских языков и особенно литературы. Поправка была справедливой, но в тех условиях не реализуемой. Преподавательских кадров для осуществления этой широкой программы в духе современной интегральной славистики не хватало. Рассуждали о составе студентов кафедры. Решили привлечь студентов второго курса отделения русского языка и литературы, которые должны были составить второй курс отделения славянских языков. Бернштейну поручалось составление переходного плана обучения для этих студентов. Процесс подготовки занятий на кафедре наглядно отражает также запись С.Б. Бернштейна в “Зигзагах памяти” от 22 августа 1943 г.: “Занят до предела организационными делами. Я принял решение на втором курсе готовить богемистов, на первом – богемистов и сербистов. Легко решить, но как это осуществить, когда в Москве нет специалистов ни по чешскому языку, ни по сербскохорватскому? Вызываю для беседы А.Г. Широкову. Она окончила Городской педагогический институт, аспирантуру проходила под руководством А.М. Селищева, завершает диссертацию по словацкой диалектологии. Она была последней аспиранткой покойного слависта. Слышал, что он был доволен ее успехами. Впечатление от первой беседы благоприятное. Она откровенно говорит, что чешский язык знает плохо, читает со словарем, лучше знает польский. Однако, по всем данным, самый большой спрос будет на богемистов и сербистов. Поэтому я настаиваю на чешском языке. После некоторого колебания Широкова соглашается”. Так была определена научная судьба одного из ведущих впоследствии отечественных богемистов. Затем Бернштейн знакомится с Радмилой Григорьевой (Джорджевич), которая была направлена в университет для преподавания сербскохорватского языка. Ему известно, что она коренная сербка из семьи политэмигрантов, давно живущая в Москве и имеющая опыт преподавания языка. Но она производит на Бернштейна неблагоприятное впечатление: “Русским языком владеет плохо... заносчива, все время стремится произвести впечатление, кичится своими связями со многими ответственными лицами. Легко установить, что у нее нет специальной подготовки в области сербского языкознания”.

Второе заседание кафедры состоялось 26 августа 1943 г. в том же составе. На нем намечались и утверждались предметы, которые *реально* могли быть прочитаны, исходя из наличного кадрового состава новой кафедры. Был утвержден курс “Введение в славянскую филологию” на русском и славянском отделениях филологического факультета МГУ, чтение которого брал на себя Н.С. Державин, и курс сравнительной грамматики славянских языков, порученный С.Б. Бернштейну (он читал его вплоть до ухода с факультета в 1970 г.). Последний же взялся читать и теоретические курсы по чешскому и болгарскому языкам. Аспирантке А.Г. Широковой поручалось ведение практических занятий по чешскому языку. Предполагалось на почасовую оплату для практических занятий по сербскохорватскому языку взять Р.И. Григорьеву-Джорджевич, а по болгарскому – политэмигрантку М.Г. Колинкоеву (последнее не было реализовано).

² Архив С.Б. Бернштейна ныне хранится в Центральном архиве документальных коллекций г. Москвы и пока не обработан. Здесь и далее автор опирается на ксерокопии документов архива, сделанные еще при жизни С.Б. Бернштейна. Особая ценность архива состоит в том, что в Архиве МГУ в фонде филологического факультета эти материалы отсутствуют.

На заседании кафедры 15 сентября утверждались планы практических занятий по чешскому и сербскому языкам. С.Б. Бернштейн писал об этом времени: “Много всяких крупных и мелких дел в связи с подготовкой нового учебного года, началом работы Славянского отделения. Скоро начнутся занятия, а ничего нет. Нет ни учебников, ни словарей, ни текстов. Широкова усиленно изучает чешский, готовит от руки тексты, составляет словарики тематического характера. Из студентов русистов второго курса отобрали группу будущих богемистов. Таким образом, в этом учебном году у нас на славянском отделении будет три группы: две группы богемистов и одна – сербистов” (“Зигзаги памяти”. Запись от 25 сентября 1943 г.). Уже 20 октября Бернштейн прочитал на заседании кафедры первый научный доклад по теме подготавливаемой им докторской диссертации “Значение влахо-болгарской письменности для истории южнославянских языков”. В обсуждении Н.С. Державин указал на некоторые спорные места доклада, но “в общем дал положительную оценку работе”. 14 ноября 1943 г. с докладом “Генезис образа Марко Королевича и Ильи Муромца” на кафедре выступил сам академик. На эту тему он прежде выступал на заседании возглавляемой им Славянской комиссии АН СССР [10. С. 113–114]. Доклад был проникнут духом марризма. Но в протоколе указывалось, что “доклад указал на общие черты в генезисе этих двух героев славянского эпоса и на то, что образ легендарного Марко Королевича древнее, нежели исторического Марко Королевича”. Выступившие в прениях отмечали большой успех исследования.

6 декабря 1943 г. в Доме ученых было проведено совместное заседание кафедры славянской филологии и кафедры русского языка филологического факультета МГУ, а также государственного и городского пединституты, посвященное памяти А.М. Селищева. Его организовал в годовщину смерти своего учителя С.Б. Бернштейн. Он и прочел главный доклад “Селищев – балкановед”. Кроме него с докладами выступили В.В. Виноградов, Дмитриев, Р.И. Аванесов, Петерсон и Черных. Бернштейн с горечью отметил, что “чествования памяти Селищева вызвало в Отделении литературы и языка отрицательное отношение, думаю, что по инициативе Лебедева-Полянского и Державина. Обнародовано за его участие в заседании сделали замечание” (“Зигзаги памяти”. Запись от 10 декабря 1943 г.). Дело в том, что Селищев был репрессирован, отбывал ссылку в Караганде, по возвращении из которой его лишили звания члена-корреспондента АН СССР [9. С. 159–160]. В дальнейшем Бернштейну пришлось приложить немало усилий, чтобы опубликовать доклады этого заседания если не в виде сборника, то хотя бы сгруппировать их в четвертом выпуске “Докладов и сообщений филологического факультета” МГУ за 1947 г. Там же впервые был помещен список печатных работ А.М. Селищева, подготовленный С.Б. Бернштейном.

26 декабря 1943 г. состоялось заседание ученого совета филологического факультета МГУ, на котором детально обсуждался учебный план славянского отделения, составленный С.Б. Бернштейном и получивший полное одобрение. Тогдашний декан Я.М. Металлов “требовал значительного увеличения часов на русскую литературу и введения курса истории западной литературы. По сетке часов это все можно сделать только за счет специальных предметов”. Бернштейн выступил против этого, и члены совета его поддержали (“Зигзаги памяти”. Запись от 27 декабря 1943 г.). Ученый также сетовал на отсутствие преподавателей по истории чешской и сербской литературы. Чтение последней он предполагал взять на себя (опираясь на книги сербских историков литературы Б. Поповича и Й. Скерлича).

24 января 1944 г., судя по последнему из восьми сохранившихся протоколов, наряду с обсуждением текущих дел, были заслушаны отчеты членов кафедры за первый семестр 1943 / 44 учебного года, что затем вошло в практику ее работы. Отчеты наглядно отражали процесс становления кафедры. Отмечалось, что академик Н.С. Державин читал для студентов первого и второго курсов “Введение в славянскую филологию”: “План выполнен. Студенты с большим вниманием и интересом отнеслись к курсу. Курс будет продолжаться весь второй семестр”. Доцент С.Б. Бернштейн читал для студентов третьего курса русского отделения чешский

язык: “План выполнен. Курс будет закончен в конце года. Для аспирантов русистов читал чешский и болгарский языки. Болгарский язык уже прочитан. Экзамен будет в начале февраля. Чешский язык будет продолжаться до конца учебного года”. Старший преподаватель Р.И. Григорьева вела занятия по сербскому языку на первом курсе славянского отделения и также выполнила свой учебный план. Старший преподаватель А.Г. Широкова занималась со студентами чешским языком на первом и втором курсах славянского отделения. В протоколе отмечалось: “Успехи студентов хорошие”. Далее указывалось, что экзаменов по дисциплинам кафедры пока не было, но проведены зачеты по сербскому и чешскому языкам. Необходимо отметить, что если методикой преподавания А.Г. Широковой С.Б. Бернштейн остался доволен, то к Г.И. Григорьевой имел большие претензии. Позднее в дневнике он откровенно писал: “Очень плохо идут занятия на первом курсе по сербскому языку. Преподавательница Григорьева не имеет элементарного понятия о том, как нужно преподавать язык. На будущий год от нее освободимся. Только бы найти хорошего преподавателя” (Дневник. Запись от 17 апреля 1944 г.). К слову сказать, Григорьева проработала на кафедре до середины 1948 г., до своего ареста и высылки в связи с известным конфликтом между ВКП(б) и КПЮ.

В 1944 г. в число преподавателей кафедры вошел профессор В.Т. Дитякин, ближайший сотрудник Н.С. Державина, бывший ученым секретарем возглавляемой последним Славянской комиссии АН СССР. Поскольку он был историком по специальности, то ему поручили чтение курса “История южных и западных славян” на втором и третьем курсах славянского отделения. Тогда же установили число учебных часов на каждого преподавателя. При этом на долю Н.С. Державина приходилось 278 часов, С.Б. Бернштейна – 666; В.Т. Дитякина – 195; А.Г. Широковой – 613 (включая и преподавание старославянского языка), Г.И. Григорьевой – 289. Из этого видно, что наибольшую учебную нагрузку на кафедре имели Бернштейн и Широкова, успешно защитившая 14 февраля 1944 г. кандидатскую диссертацию “Восточнославянские говоры Земплинско-Унгского комитата (происхождение, состав)”. Были объявлены вакансии на преподавание истории чешской литературы (на третьем курсе), ведение практических занятий на первом и третьем курсах по болгарскому, польскому и чешскому языкам. Уже в 1944/45 учебном году их удалось частично заполнить. Болгарский язык начала преподавать ученица С.Б. Бернштейна, доцент В.В. Бородич, а польский язык – А.С. Посвянская. С.Б. Бернштейн писал об этом: “Наступил второй год существования нашего славянского отделения. Старшая чешская группа – теперь уже группа третьего курса. Младшая чешская и сербская группа – второго курса. Теперь открыты две новые специализации: польская и болгарская. Польский язык будет преподавать моя старая знакомая (по МИФЛИ. – М.Д.) Адель Соломоновна Посвянская. Думаю, что она успешно справится со своей задачей. Хуже с болгарским языком. Хороших преподавателей нет. Я пригласил свою ученицу Веру Владимировну Бородич. Она специализируется в области грамматики старославянского языка, хорошо знает болгарскую грамматику. Но она очень плохо практически владеет живым болгарским языком” (“Зигзаги памяти”. Запись от 1 сентября 1944 г.).

12 октября 1944 г. С.Б. Бернштейн подал докладную записку ректору МГУ И.С. Галкину, в которой поднял вопрос о насущных нуждах кафедры. Он сообщил, что в первом семестре 1944/45 учебного года кафедре удалось обеспечить преподавание специальных дисциплин лишь лингвистического цикла. Из докладной следует, как распределялись занятия на кафедре в учебном году и какие в этом отношении произошли изменения. Н.С. Державин по-прежнему читал введение в славянскую филологию, С.Б. Бернштейн – историю и диалектологию чешского языка, а также общий курс болгарского языка, руководил семинаром по истории чешского языка и вел аспирантские занятия по славянским языкам. А.Г. Широкова вела практические занятия по чешскому языку, В.В. Бородич – по болгарскому, А.С. Посвянская – по польскому, Р.И. Григорьева – по сербскому.

В то же время, указывал С.Б. Бернштейн, кроме Н.С. Державина, занимавшегося историей болгарской литературы, кафедра не имеет ни одного специалиста по истории славянских литератур. Он сообщил также о попытках решить эту проблему собственными силами. Велись переговоры с профессором ГИТИСа С.С. Игнатьевым, который читал там историю славянского театра. Последний выразил готовность прочитать в МГУ в текущем учебном году общий краткий курс по истории славянских литератур. В будущем, однако, писал Бернштейн, кафедре требуются постоянные преподаватели, как минимум еще четыре человека. И здесь ученый пытался напомнить о судьбе репрессированных славистов и как-то помочь их нормальному трудоустройству. Он указывал, что при энергичной поддержке ВКВШ можно было бы пригласить в Москву профессора А.М. Лукьяненко, который “в прошлом читал славянские языки и литературы в Киевском университете, а ныне живет в Сибири”. В Яранске работает профессор В.П. Петрусь, написавший докторскую диссертацию на тему: “Фонематические структуры типа tɔlt–tɔlt в славянских языках” (и защитивший ее в объединенном совете Института языка и мышления и Института русского языка АН СССР в 1945 г.). “Могу засвидетельствовать, – писал Бернштейн, – как официальный оппонент диссертации, что он хорошо знаком со славянским языкознанием. Профессор Б.А. Ларин сообщил мне, что Петрусь хорошо знает украинский и польский языки. В Яранске он преподает русский язык”. Вспомнил Бернштейн и о своем коллеге по МИФЛИ, профессоре Иорданском: “В 1940 г. в ИФЛИ успешно защитил диссертацию тов. Иорданский. Под руководством профессора Селищева он изучил главнейшие славянские языки. Его диссертация показала, что тов. Иорданский хорошо знаком со славянскими языками. Приглашение его весьма желательно. Работает он в Уфе”.

Понимая, что скоро дело с приглашением сосланных славистов решиться не может, Бернштейн предложил и другой способ выхода из создавшегося положения – приглашать для временного чтения лекций крупных специалистов из Львовского университета. Действительно, письмо от 17 мая 1945 г. профессору Львовского университета, полонисту В. Ташицкому с приглашением перейти на работу в МГУ на кафедру славянской филологии за подписью ректора МГУ И.С. Галкина было послано [11. Д. 174. Л. 23]. Но, к сожалению, данные предложения ученого остались не реализованными.

Кроме кадровых проблем С.Б. Бернштейн указал также на отсутствие необходимых пособий и специальной литературы, мешающее успешной работе кафедры. Он предложил организовать выпуск литературы из славянских стран, а также наладить выпуск учебных пособий. “Кое-что в этом отношении уже делается. Так, ИРЯ АН СССР выпускает краткие грамматики важнейших славянских языков, предназначенные для практических занятий со студентами славянских отделений” (в этой информации скорее желаемое выдавалось за действительное). Бернштейн указывал также, что кафедре “срочно нужны пособия по истории славянских языков, диалектологии, хрестоматии со старыми текстами и со словарем к ним, истории славянских литератур. В этой работе должен принять участие наш университет”.

В заключение С.Б. Бернштейн просил И.С. Галкина ознакомиться с содержанием своей докладной записки соответствующие отделы ВКВШ и НКП РСФСР, справедливо указывая, что “старейший университет в стране, в котором читали лекции выдающиеся представители русского славяноведения, должен обеспечить нормальную подготовку славяноведческих кадров”³.

³ Этот пассаж С.Б. Бернштейна выдержан в духе “русофильства” последних лет войны. В докладе ректора МГУ “Задачи Московского университета в связи с выступлением т. Сталина в ноябре 1943 г.”, прочитанном 10 декабря, говорилось: “Старейший русский университет должен стать также средоточием развития русской и славянской культуры, очагом разработки теоретических проблем русской философской и экономической мысли, русского языка и литературы, русского искусства” [11. Д. 143. Л. 32]. В том же духе в МГУ 5–12 июня 1944 г. была проведена грандиозная научная конференция “Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры” [12. С. 27–29].

В материалах архива С.Б. Бернштейна дальнейшая судьба предложений докладной записки не прослеживается. Названные преподаватели на кафедру приглашены не были. Но подготовка учебных пособий на кафедре началась. Сам Бернштейн принимал участие в работе над русско-болгарским словарем, а также готовил к печати пособие по истории чешского языка, которое намеревался литографировать. Не получив на это разрешения он, взыскательно подходя к научным трудам, не решился издать пособие типографически, считая его компилятивным. В “Зигзагах памяти” он записал 5 сентября 1947 г.: “Творчески я никогда чешским языком не занимался. Рукопись представляет собой тщательно составленные записки лекционного курса на основе работ Гебауэра, Травничка, Гавранка и других богемистов. Выступать в печати в функции историка чешского языка я не могу”.

План научной работы кафедры на 1945 г. предусматривал подготовку А.Г. Широковой “Хрестоматии по истории и диалектологии чешского языка” объемом в шесть авторских листов, аналогичную хрестоматию по болгарскому языку того же объема должна была сделать В.В. Бородич, по польскому, в пять авторских листов – А.С. Посвянская. Р.И. Григорьевой поручалось подготовить русско-сербский словарь объемом в 20 авторских листов. С.Б. Бернштейн планировал написать “Лекции по истории чешского языка” (15 авторских листов), а В.Т. Дитякин – “Очерки по истории чешской культуры”. Эти планы в то время не были реализованы. Впоследствии С.Б. Бернштейн подготовил “Краткий грамматический очерк болгарского языка” для “Болгарско-русского словаря” Т.С. Луканова и Е.П. Тиневой, изданного в 1947 г. В том же году вышел из печати его “Краткий грамматический очерк чешского языка” в “Чешско-русском словаре” П.Г. Богатырева. В послевоенные годы С.Б. Бернштейн упорно работал над учебником болгарского языка, законченном в июле 1946 г. В 1948 г. он вышел из печати.

В 1945 г. Бернштейн выступил с инициативой издания “Ученых записок” кафедры славянской филологии МГУ, которая осталась, как и все намеченные пособия кафедры, нереализованной.

Но проблема с укомплектованием кафедры кадрами литературоведов как-то решалась. В 1945 г. польский политэмигрант, ставший советником посольства Польши в СССР, Г. Вольпе, прочитал годичный спецкурс “Эпоха А. Мицкевича”, его программа сохранилась в архиве Бернштейна.

В начале 1945/46 учебного года на кафедру пригласили доцента А.И. Павловича для чтения курсов, ведения семинаров по чешской литературе. С.Б. Бернштейн писал о нем: “Историю чешской литературы начал читать А.И. Павлович. С этим человеком я познакомился еще в 1930 г. Тогда он после завершения аспирантуры по польскому языку в РАНИОНе где-то преподавал русский язык. В 1934 г. был арестован по делу славистов. Сейчас после завершения срока живет в Рязани. Приезжает в Москву на один-два дня для чтения лекций. Это ему по нашему ходатайству разрешено. Пока читает очень плохо, но выбора нет. Он сам мне сказал, что ему было бы значительно легче преподавать польскую литературу, но нам нужна чешская” (“Зигзаги памяти”. Запись от 5 ноября 1944 г.). Остается добавить, что срок Павлович отбывал в Сиблаге в г. Мариинске (Кемеровской области), в Рязанском пединституте он преподавал русский язык; в 1944 г. защитил в Казанском университете кандидатскую диссертацию “Национально-освободительная борьба хорватского народа и творческий путь И.И. Мажуранича”. Бернштейну удалось перевести его в МГУ. Он готовил докторскую диссертацию “Мицкевич в славянских литературах”, которую так и не защитил.

Подводя некоторые итоги первых двух лет преподавания на кафедре славянской филологии, С.Б. Бернштейн писал: “Много времени отнимает славянское отделение. Очень много трудностей. Мало текстов, нет словарей, учебников. Массу времени у преподавателей отнимает переписка текстов, составление небольших словариков. Не все преподаватели достаточно хорошо знают языки, некоторые не имеют опыта преподавания. Лучше всего обстоит дело с преподаванием польского языка,

плохо с преподаванием болгарского и сербохорватского языков. Скверно читаются курсы истории литератур... Устраиваем встречи студентов с представителями славянской эмиграции. Они проходят интересно. На них наши студенты держат экзамен, так как выступают на славянских языках. Из печати вышла моя программа по истории и диалектологии чешского языка. Впервые я такой курс читаю. На подготовку к лекциям и практическим занятиям уходит очень много времени" ("Зигзаги памяти". Запись от 14 января 1945 г.).

Окончание Великой Отечественной войны не внесло каких-либо существенных перемен в учебные планы кафедры славянской филологии в МГУ, но несомненно повлияло на контингент студентов – аудитории стали заполнять вернувшиеся с войны солдаты.

Во втором семестре 1945/46 учебного года С.Б. Бернштейну снова пришлось выступить против способа преподавания В.Т. Дитякина. Он писал: "Плохо идут дела с курсом введения в славянскую филологию. Теперь этот курс уже совершенно официально читает Дитякин. Недавно он решил сделать уклон в языковедение и рассказывает студентам яфетические бредни Марра и Державина. По этому вопросу я беседовал с деканом. Показал Виноградову студенческие записи лекций. Виктор Владимирович согласился со мной, что Дитякину нельзя разрешать чтение лингвистических разделов курса. Вчера состоялась наша беседа с Валентином Тихоновичем. Приняли решение, что четыре лингвистические лекции буду читать я, после чего Дитякин продолжит лекции по другим разделам. Дитякин охотно согласился" ("Зигзаги памяти". Запись от 29 января 1946 г.).

Большое внимание С.Б. Бернштейн уделял поддержанию на факультете традиций чествования памяти выдающихся славистов. Так было сделано по отношению к А.М. Селищеву в декабре 1943 г. (В 1987 г. вышла из печати монография С.Б. Бернштейна "А.М.Селищев – славист-балканист".) 16 апреля 1944 г. в круглом зале университета состоялось заседание памяти Д.Н. Ушакова, скончавшегося в 1942 г. в Ташкенте. С докладами выступили Л.В. Щерба, Г.О. Винокур и М.В. Сергиевский. К сожалению, сданный в печать сборник докладов памяти Д.Н. Ушакова из-за вмешательства, как полагал С.Б. Бернштейн, В.В. Виноградова в свет не вышел ("Зигзаги памяти". Запись от 18 февраля 1946 г.). Сам Бернштейн впоследствии посвятил Ушакову обстоятельную статью [13]. 8 января 1946 г. на факультете отмечали 25-летие со дня смерти В.Н. Щепкина. С.Б. Бернштейн писал: «М.Н. Петерсон выступил с докладом "В.Н. Щепкин – университетский преподаватель". Это был доклад-воспоминание. Затем П.С. Кузнецов огласил доклад на тему "Труды В.Н. Щепкина в области старославянского языка". Я выступил с докладом "В.Н. Щепкин – историк болгарского языка". Неожиданно пришло много народу. В.В. Виноградов предложил опубликовать доклады в новой серии факультета "Доклады и сообщения"» ("Зигзаги памяти". Запись от 8 января 1946 г.). Доклады действительно были опубликованы во втором номере "Докладов и сообщений филологического факультета" МГУ за 1947 г. Впоследствии Бернштейн написал о Щепкине небольшую книгу в серии "Замечательные ученые Московского университета", изданную в 1955 г.

В 1945/46 учебном году Бернштейн читал студентам третьего курса историю чешского языка и историю сербского языка и руководил семинаром по истории чешского языка. Кроме того, он впервые упоминает о чтении студентам четвертого курса сравнительной грамматики славянских языков ("Зигзаги памяти". Запись от 27 февраля 1946 г.). Если первые два курса, по свидетельству автора, носили компилятивный характер, то последний разрабатывался им самостоятельно и по прошествии времени издан в двух книгах [14], получивших высокую оценку специалистов. Судя по записям в дневнике, перенесенным в "Зигзаги памяти", Бернштейн начал работу над курсом сравнительной грамматики славянских языков еще в 1943 г. и готовил ее книжный вариант. 28 ноября 1943 г. он записал в дневнике: «Решил исподволь начать работу над "Сравнительной грамматикой славянских языков". В этом году написать вводную часть, методологическую, и главу о носовых гласных. Долж-

ны быть тщательно обработаны праславянская часть и история отдельных явлений во всех славянских диалектах». 19 мая 1944 г. он снова вернулся к этому вопросу и предполагал готовить работу частями, выпуская литографированные лекции по отдельным проблемам. Ученый сознавал, что в условиях господства марристов напечатать такую работу вряд ли удастся, чему служил примером урок Л.А. Булаховского, который жаловался на то, что в Киеве ему партийная организация факультета запрещает читать подобный курс (“Зигзаги памяти”. Запись от 5 мая 1946 г.).

Летом 1946 г. прошли экзамены по читавшимся С.Б. Бернштейном дисциплинам, о которых он сделал любопытные выводы, связав качество преподавания с успехами студентов: “Завершаются экзамены. Экзамены по истории чешского и сербского языков прошли бледно. Блестящих ответов не было. Вызубрили свои записки, богемисты еще прочитали Селищева, сербисты ограничились Кульбакиным. Значительно лучше отвечали студенты четвертого курса сравнительную грамматику славянских языков. Этот экзамен доставил мне удовольствие. Вероятно, сравнительную грамматику я читал лучше, интереснее, нежели историю чешского и сербского языков” (“Зигзаги памяти”. Запись от 29 июня 1946 г.).

В 1946/47 учебном году произошли некоторые изменения в преподавании кафедры. Бернштейн читал для второго и третьего курсов историю болгарского языка, для студентов второго курса – историю сербского языка, а также спецкурс по болгарской фонетике, проводил семинары по болгарскому и чешскому языкам. Новшество заключалось в том, что историю болгарского языка он читал студентам по-болгарски, как это делал в 1930-е годы в Одесском педагогическом институте. Вообще преподавание на славянских языках очень поощрялось на кафедре. Ученый констатировал: “Лучше всего кафедра обеспечивает преподавание практических занятий по польскому языку. Здесь нам большую и вполне квалифицированную помощь оказывает поляк З.А. Химова. Повысил уровень языковой подготовки наших полонистов Г. Вольпе, который прочитал на польском языке годовой курс, посвященный Мицкевичу. В прошлом году наш факультет по отделению русского языка и литературы окончила Е. Окунева. По совету и рекомендации ее руководителя я взял ее в аспирантуру по польской литературе, несмотря на то, что она не знает ни польского языка, ни польской литературы. Аналогичный опыт я сделал с другим выпускником университета С. Никольским. Его рекомендовал мне П.Г. Богатырев. Под его же руководством Никольский проходит аспирантуру по чешской литературе. Опыт рискованный, но ждать выпускников славянского отделения нельзя. Историю чешской литературы пока читает А.И. Павлович, читает на низком уровне. В свое время прочитать курс истории болгарской литературы обещал Н.С. Державин, но теперь после тяжелой болезни он полутруп” (“Зигзаги памяти”. Запись от 15 сентября 1946 г.). Вопрос с курсом истории сербской литературы продолжал оставаться открытым.

Задуманное С.Б. Бернштейном возрождение традиций российского славяноведения проявлялось не только в чествовании памяти выдающихся славистов и начале чтений курса сравнительной грамматики славянских языков, введенного в российских университетах еще в середине XIX в., но и в попытках введения изучения старославянского языка и его памятников. Бернштейн отмечал: “Нужно постепенно возрождать те разделы славяноведения, которые прежде занимали в нем господствующее положение, а потом исчезли. Последними их представителями были еще в советское время П.А. Лавров, М.Н. Сперанский, Н.К. Никольский, А.В. Михайлов, Г.А. Ильинский и др. Речь идет об изучении старославянской письменности, ее языка, деятельности Кирилла и Мефодия и их учеников, об издании древних текстов и т.п.”. У него возник план объединения усилий в этом направлении славянского и классического отделений филологического факультета МГУ. “Мы берем в аспирантуру успешно закончивших классическое отделение. Именно они в дальнейшем начнут готовить на славянском отделении соответствующих специалистов. Только пройдя курс классического отделения, можно основательно овладеть греческим и

латинским языками. Славистическую их подготовку обеспечит уже наша кафедра. Что касается богословия (знание состава церковных книг, их функций и пр.), то здесь предстоит большая самостоятельная работа” (“Зигзаги памяти”. Запись от 2 апреля 1946 г.). Задуманное Бернштейном обращение к “славянским древностям”, не реализованное в полной мере до сих пор, конечно, носило в те времена характер “проекта” и не могло быть осуществлено в условиях господства марксизма и нового витка жестких идеологических кампаний.

В середине 1946 г. началось закручивание идеологических гаек, несколько ослабленных в годы войны в сторону патриотизма. О перестройке учебной и научной работы в МГУ в связи с решением ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии по поводу известного августовского постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград”, направленного в действительности против всякого инакомыслия, состоялось на собрании профессоров, преподавателей и научных работников МГУ, состоявшемся 25 ноября 1946 г. Вместе с тем в резолюции по докладу ректора МГУ И.С. Галкина, в частности, отмечалось: “Рекомендовать советам и кафедрам географического, исторического, филологического, философского, экономического и юридического факультетов обратить особое внимание на изучение проблем, возникших в связи с появлением новых демократических государств в Юго-Восточной и Центральной Европе и на изучение проблем славяноведения”.

Идеологическая кампания была продолжена в 1947 г. С.Б. Бернштейн писал: «На факультете напряженная обстановка. Широко обсуждают прошлогодние постановления партии по вопросам литературы и искусства. В первую очередь это относится к кафедрам литературоведческого и искусствоведческого циклов. Однако приходится этим заниматься и лингвистам. К счастью, славистов в этом аспекте пока не трогают, но кафедре русского языка достается. В специальном постановлении сказано, что “вся научная работа кафедры должна быть проникнута высокой идейностью, большевистской партийностью”. В решении кафедры записано: “Необходимо подчеркнуть, что этот метод (марксизм-ленинизм. – М.Д.) мы должны применять не только тогда, когда мы занимаемся такими общими проблемами, как вопрос об историзме в развитии языков, об образовании диалектов и национальных языков, о соотношении языка и мышления, которые непосредственно связаны с марксистско-ленинским учением об обществе и диалектико-материалистической теорией познания, – но также занимаясь любыми специальными и специфическими проблемами своей науки (например вопросами грамматической или фонетической структуры языков)»». Бернштейну только оставалось констатировать: “Как все это напоминает 1931 г. Мы вновь входим в полосу левацких загибов, которые позже, конечно, будут осуждены” (“Зигзаги памяти”. Запись от 15 марта 1947 г.).

Однако с “левацкими перегибами” С.Б. Бернштейну пришлось бороться значительно ранее. В 1945 г. Н.С. Державин, ввиду длительной командировки и инсульта, отходит от преподавания в МГУ, передав отчасти свои функции В.Т. Дитякину, методикой преподавания которого Бернштейн был крайне недоволен, считая ее излишне политизированной и не отвечающей требованиям современной славянской филологии. Бернштейн писал: “Мои худшие опасения о преподавании введения в славянскую филологию оправдываются. Фактически курс читает Дитякин. Это не университетский курс, а политический барабан” (“Зигзаги памяти”. Запись от 1 сентября 1944 г.). Позднее Бернштейн вынужден был снова беседовать с Дитякиным по поводу содержания его курса: “Недавно мне пришлось серьезно поговорить с профессором Дитякиным... Я познакомился с записками студентов, говорил со студентами и затем с самим профессором. В курсе Дитякина филологии почти нет. Все время речь идет о борьбе славян со своими многочисленными врагами... Я долго и, кажется, безрезультатно пытался объяснить Дитякину, что студенты в этом курсе должны получить определенную сумму знаний, очень важную для понимания последующих дисциплин. Он обещал учесть мои пожелания. Как я и предполагал, Державин лекций не читает и передоверил весь курс Дитякину. Не знаю, было бы лучше,

если бы читал сам Николай Севастьянович. Дитякин хотя бы не лезет в лингвистику, а Державин, конечно, ударился бы в марризм” (“Зигзаги памяти”. Запись от 17 апреля 1945 г.). С Державиным Бернштейн поддерживал дружественные отношения (активно участвовал, в частности, в торжествах, связанных с его юбилеем в 1947 г.), но в то же время весьма критически относился к его научным трудам и особенно приверженности академика марризму. Можно согласиться с оценкой Державина, согласно которой он наряду с несомненными заслугами в области славяноведения “являл собой одновременно воплощение научного и политического конформизма и не раз использовал ради личного самоутверждения обычный для той поры арсенал средств, вплоть до самых одиозных” [3. С. 200].

Важным событием в истории кафедры была защита докторской диссертации ее фактического руководителя С.Б. Бернштейна “Язык валашских грамот”, которая состоялась 6 декабря 1946 г. в Институте русского языка АН СССР. Его оппонентами выступили Н.С. Державин, Б.А. Ларин и Л.А. Булаховский. Был зачитан также отзыв покойного М.В. Сергиевского, ранее утвержденного оппонентом. Защита прошла внешне блестяще, хотя сам диссертант затем сетовал, что не получил от оппонентов серьезных замечаний и научного диспута не получилось. “Неожиданно для меня, – писал Бернштейн, – голосование было единогласным: все члены Совета единодушно проголосовали за присуждение степени доктора наук” (“Зигзаги памяти”. Запись от 9 декабря 1946 г.). Двумя годами позже диссертация была опубликована в виде книги под названием “Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Язык валашских грамот XIV–XV вв.”, составив важное событие в изучении истории болгарского языка в балканском контексте. Она получила высокую оценку не только отечественных, но и зарубежных специалистов (И. Лекова, И. Дуйчева, Г. Нандриша и др.). Р.И. Аванесов позже писал об этом капитальном труде: С.Б. Бернштейн рассмотрел в нем “широкий круг вопросов, далеко выходящих за рамки обычных лингвистических исследований: проблемы этнических и языковых отношений на территории Дакии, вопросы возникновения письменности в Валахиях, филологическая критика исследуемых текстов (выделение сербских и болгарских элементов). И лишь после этого автор обратился к собственно языковым вопросам – изучению глагола и системы именного и местоименного склонения. Результаты исследования внесли существенный вклад не только в историю болгарского языка, но также в изучение так называемого славянского периода в истории румынского народа и языка. Книга является также крупным вкладом в балканистику. Характерная особенность этого труда – органическая связь истории языка с историей народа” [15. С. 21].

С.Б. Бернштейн стремился вовлекать студентов в свою научную работу. В 1947 г. он подготовил программу по составлению Болгарского лингвистического атласа и наметил ряд экспедиций в Новороссию и Бессарабию для изучения болгарских диалектов потомков болгарских переселенцев в Россию. Начиная с 1948 г. в такие экспедиции регулярно привлекались студенты. В тот год “было обследовано 40 болгарских говоров в 26 селах Молдавской ССР и Измаильской области УССР” [16. С. 318].

После войны С.Б. Бернштейн придавал большое значение научным связям с зарубежными славистами и старался использовать их знания и опыт в учебно-педагогической работе. Первые личные контакты ему удалось установить в июне–июле 1945 г. во время пышных торжеств по поводу 220-летия АН СССР. В Москву и Ленинград были приглашены многие видные зарубежные ученые. Наиболее тесно С.Б. Бернштейн общался тогда с сербским славистом, президентом Сербской академии наук А. Беличем, французским славистом А. Мазоном, польским лингвистом Т. Лер-Сплавинским, вместе с которыми участвовал 5 июля в заседании Отделения литературы и языка, открывшемся докладом академика С.П. Обнорского. Ему также удалось организовать встречу приехавших на юбилейную сессию Академии чешских ученых – историка З. Неядлы и этнографа И. Горака со студентами богемиста-

ми. “Беседа прошла интересно. Наши девочки смело говорили на чешском языке”, – вспоминал Бернштейн (“Зигзаги памяти”. Запись от 5 июля 1945 г.).

Открыл практику чтения курсов на кафедре славянской филологии болгарский ученый Б. Велчев, который находился в 1947 г. в Москве в длительной научной командировке. Бернштейн писал о нем: “В прошлом он работал в области истории болгарской литературы. Теперь перешел на должность зав. кафедрой истории русской литературы в Софийском университете. В центре его научных интересов творчество Тургенева и Максима Горького. На славянском отделении успешно читает курс истории болгарской литературы. Оказывает нам в этом отношении большую помощь” (“Зигзаги памяти”. Запись от 6 апреля 1947 г.).

Позднее С.Б. Бернштейн подал докладную записку в деканат о приглашении “профессора А. Белича на два месяца для чтения лекций на славянском отделении”, о чем договорился с ним еще в 1945 г., и получил неожиданно горячую поддержку тогдашнего декана филологического факультета В.В. Виноградова (“Зигзаги памяти”. Запись от 7 января 1947 г.). Президент Сербской академии наук А. Белич прилетел в Москву 16 мая 1947 г. С.Б. Бернштейн писал: “Александр Иванович чувствует себя отлично, полон всяких планов. На сербском языке будет читать нашим сербистам историю сербского языка и некоторые разделы грамматики современного литературного языка. Согласен читать лекции ежедневно, может даже две пары. А ведь ему уже семьдесят лет! Будет в Москве до конца июня. В связи с таким планом мы вынуждены некоторые экзамены наших сербистов перенести на сентябрь. Ректор дал на это согласие. Кроме того, Белич прочитает несколько лекций на русском языке по некоторым теоретическим вопросам грамматики” (“Зигзаги памяти”. Запись от 16 мая 1947 г.). Бернштейн не раз отмечал, что лекции А. Белича проходят успешно и на них многолюдно. 25 июня начались экзамены по курсам Белича: “Девочки сперва робели, но потом освоились и отвечали бойко. Белич был доволен” (“Зигзаги памяти”. Запись от 25 июня 1947 г.). Пребывание А. Белича в Москве закончилось торжественной церемонией его избрания почетным профессором Московского университета, состоявшейся в актовом зале университета 28 июня 1947 г.

Приглашение на кафедру иностранных славистов продолжилось и в 1948 г. С 9 марта по 3 апреля чешский лингвист профессор Пражского университета Б. Гавранек читал “лекции по истории чешского языка и сравнительную грамматику славянских языков”. Проведенными экзаменами остался доволен (Дневник. Записи от 9 марта и 4 апреля 1948 г.). В апреле начал читать лекции на болгарском языке о Х. Ботева профессор Софийского университета М. Димитров (Дневник. Запись от 21 апреля 1948 г.) и т.д.

Некоторый итог работе кафедры славянской филологии в 1943–1947 гг. был подведен в заметке С.Б. Бернштейна “О подготовке славистов-филологов в Московском университете” [17]. Ученый указывал, что “в системе современного славистического образования большее внимание было уделено практическому изучению специального славянского языка. На первом и втором курсах практическим занятиям отведено 350 часов (210 на первом курсе и 140 на втором). Практическое изучение языка продолжается в течение всех пяти лет. Общее число часов составляет почти 600. Научное изучение специального славянского языка начинается со второго курса, после того как на первом курсе студенты основательно познакомятся с ним практически, пройдут старославянский язык и прослушают введение в славянскую филологию” [17. С. 76].

Научное изучение специального славянского языка включало в себя освоение прослушанных лекций и участие в практических занятиях по истории и диалектологии (в течение года 68 часов лекций и 34 часа практических занятий). Одновременно студенты слушали лекции по фонетике и морфологии современного литературного языка. На третьем курсе наряду с практическими занятиями читались лекции по словообразованию и синтаксису, а со второго семестра проводились специальные семинары по избранному студентами языку.

Бернштейн справедливо полагал, что филолог-славист обязан получить хорошую подготовку и по русскому языку, что чрезвычайно важно как в овладении профессией, так и в плане дальнейшего трудоустройства, так как потребность в славистах была не слишком велика. Поэтому уже на первом курсе студенты сдавали экзамен по современному русскому языку, а на третьем – слушали историю русского языка (68 часов). Одновременно студенты начинают знакомство со вторым славянским языком той же группы (богемисты – с польским, болгаристы – с сербским). На это изучение отводилось 102 часа.

“На 3-м курсе, – писал С.Б. Бернштейн, – начинается изучение славянских литератур, чему предшествует на первых курсах изучение теории литературы и истории русской литературы. Курс истории всеобщей литературы был вынесен из числа обязательных предметов и включен в число специальных курсов.

На 4-м курсе основное внимание уделяется работе в специальных семинариях и курсах. Студенты раз в неделю продолжают практические занятия по специальному языку, приступают к изучению (68 часов) славянского языка другой группы (для чехистов – югославянский, для болгароведов – западнославянский) и слушают историю славянских литератур.

На 5-м курсе читаются сравнительная грамматика славянских языков, методика специального языка и ведется работа в спецкурсах и спецсеминарах. В течение первого семестра студенты проходят педагогическую практику на младших курсах отделения. За два месяца до государственных экзаменов происходит защита дипломных работ.

По такому учебному плану работали первые наши выпускники. С небольшими изменениями этот план действует и ныне” [17. С. 76–77].

С.Б. Бернштейн не скрывал, что выработанный на кафедре оптимальный план преподавания предмета славянской филологии не был выполнен полностью по ряду объективных и субъективных причин, прежде всего из-за недоукомплектованности преподавательского состава кафедры. Однако удалось обеспечить практическое изучение основных славянских языков: “Удалось организовать чтение лекций по истории и диалектологии всех специальных славянских языков. Значительно хуже дело обстояло с чтением специальных курсов и организацией специальных семинариев. Здесь кафедра смогла обеспечить лишь болгарский цикл и отчасти чешский” [17. С.77]. В то же время не удалось обеспечить высокий теоретический уровень лекций по второму и третьему славянским языкам, здесь занятия свелись к практическому изучению. Все это, констатировал профессор, “не могло сказаться благоприятно на уровне лингвистических знаний наших выпускников. Практические их знания оказались выше теоретической подготовки не только в области узкой специальности, но и в области славянского языкознания вообще” [17. С. 77].

Другой проблемой кафедры по-прежнему оставалось решение вопроса с чтением истории славянских литератур. “Здесь мы смогли обеспечить нормальное чтение лишь истории чешской литературы. Читался не только общий курс, но и специальные курсы, велись семинарии. Смогли временно организовать чтение лекций по истории болгарской и польской литератур. История сербской литературы не читалась. Студенты сербского цикла самостоятельно с помощью преподавателя сербского языка изучают писателей и штудируют основные труды по сербскому литературоведению”. “Слабая подготовка наших студентов в области истории всеобщей литературы сказалась крайне отрицательно при изучении славянских литератур (например, отсутствие знаний по античной литературе при изучении польской литературы XVI в.)” [17. С. 77].

Бернштейн указал, что славянские отделения организованы в Ленинградском, Киевском, Рижском, Львовском и других университетах, но никакой связи между этими отделениями не существует. Между тем, была бы полезна некоторая специализация отделений, исходя из наличного состава славистов, для лучшей подготовки

специалистов. Полонистов целесообразно готовить в Ленинграде и Львове, болгаристов – в Москве.

Важное значение для координации работы отечественных славистов имело Всесоюзное совещание кафедр славянской филологии, проходившее в Киеве 10–19 мая 1948 г. Оно имело целью “подвести итоги научной и педагогической работы по славянской филологии в СССР, выработать пути и методы еще более успешного и плодотворного развития славянской филологии и ее преподавания в высших учебных заведениях страны. Изучение и разработка этих вопросов имеет в настоящее время особенно важное значение в связи с ростом и укреплением связей между СССР и зарубежными славянскими народами” [18. С. 61]. На совещании были заслушаны доклады Н.С. Державина, Л.А. Булаховского, В.Т. Дитякина, А.И. Белецкого и других ученых. Судя по информации, опубликованной в журнале “Славяне” (автором которой был В.Т. Дитякин), в большинстве из них чувствовалось влияние марризма. Тем не менее его ярый противник С.Б. Бернштейн (имя которого среди докладчиков не было упомянуто) остался доволен результатами совещания. Он писал: “Сегодня приехал из Киева, где происходило совещание руководителей кафедр славянской филологии, где имеются славянские отделения или славянские кафедры. Были представители из Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Риги, Ростова, Тарту и других городов... Мне пришлось выступать с несколькими докладами и сообщениями. Было принято несколько важных решений. Думаю, что совещание даст некоторые результаты в деле развития славистического образования в нашей стране” (Дневник. Запись от 20 мая 1948 г.). Вероятно, он имел в виду обсуждение докладов “о типовом учебном плане славянских отделений университетов, о постановке педагогической практики студентов, о научно-методической работе кафедр славянской филологии”. На совещании был рассмотрен и утвержден проект плана работ для аспирантов. Кроме того, обсуждались проекты программ по истории и диалектологии, современному литературному языку всех славянских народов, по сравнительной грамматике славянских языков, конкретных программ по истории сербской и чешской литератур. Несомненную пользу принесло рассмотрение имевшихся в распоряжении преподавателей учебников и учебных пособий по славянскому языкознанию и плана изданий учебной литературы на ближайшие три года [18. С. 62].

Положительные в целом итоги совещания указывали на хорошие перспективы развития кафедры славянской филологии и в МГУ. В действительности на кафедре случился ряд осложнений, который привел к разделению ее на кафедру славянских языков и кафедру славянских литератур. Заведующим первой 30 июля 1948 г. (а не 7 сентября, как полагал Бернштейн) был утвержден деканом филологического факультета МГУ С.Б. Бернштейн, второй – Н.С. Державин, его заместителем стал А.И. Павлович (фактически возглавивший кафедру). Официальный приказ Министерства высшего образования СССР (№ 1012) был издан 14 июля 1948 г. Помимо сугубо практических причин, по которым С.Б. Бернштейну затруднительно было совмещать работу зав. сектором филологии во вновь созданном Институте славяноведения АН СССР и на обширной кафедре в МГУ, где постановка преподавания славянских литератур постоянно хромала, по-видимому, примешались и внешние обстоятельства, по которым ученый стремился снять с себя ответственность за политизацию литературоведения. Об этом свидетельствует документ, найденный нами в архиве В.Т. Дитякина.

В то время продолжал углубляться личностный конфликт между Дитякиным и Бернштейном. Последний был крайне недоволен содержанием курса “Введение в славянскую филологию”, который читал Дитякин на первых курсах филологического факультета, называя его “политическим барабаном”. В ответ на критику Дитякин организовал статью “О положении на Славянском отделении”, опубликованную в факультетской газете “Комсомолия” (№ 7 от 10 ноября 1948 г.), подписанную “по поручению студентов третьего курса” Тонконоговой. Статья отразила нелегкое положение на кафедре в период нового наступления марристов и в канун очередной

идеологической кампании – против космополитизма. Дитякин устами студентки спекулировал на том, что “каждый студент, окончивший наш факультет, будь он лингвист или литературовед, должен прежде всего стоять на крепкой основе марксистского понимания вопросов лингвистики и литературоведения, должен уметь применять марксистский метод при дальнейшей самостоятельной работе над любыми научными вопросами” [19. Л. 1]. Он подчеркнул, что как раз с теоретическими и методологическими вопросами на славянском отделении дело обстоит неблагополучно, поскольку они поднимаются только в его курсах “Введение в славянскую филологию” и “История славян”, читаемых на первых двух курсах. На последующих курсах теоретические вопросы якобы не рассматриваются. За отсутствие марксистской критики Дитякин резко осудил курс лекций по истории славянских литератур доцента А.И. Павловича, курс истории польской литературы преподавателя Е.З. Окуновой (Цыбенко), спецкурс по славянскому фольклору профессора П.Г. Богатырева. В вину руководству отделения он поставил отсутствие преподавателей по истории болгарской, чешской и сербской литератур. В статье отмечалось: “Не лучше положение у лингвистов. Семинаров почти нет, студенты не имеют никакого представления об учении основателя марксистского языковедения академика Марра” [19. Л. 2]. Далее в статье содержались и справедливые замечания о том, что в преподавании на кафедре мало внимания уделяется технике художественного перевода, что может быть полезно в будущей работе, что для студентов-полонистов необходимо организовать летнюю языковую практику и т.д. В целом же “политически грамотные” студенты требовали перестройки работы кафедры “по линии усиления и увеличения общих теоретических курсов, по линии перестройки имеющихся курсов литературоведения и лингвистики”, организации “при НСО кружка славяноведения под руководством профессора Дитякина”, важного “для понимания общих вопросов славяноведения” и составления библиографии произведений классиков марксизма-ленинизма и марксистских критиков по вопросам славяноведения. Статья заканчивалась знаменательными словами: “Нельзя забывать, что славянскому отделению мало давать стране лишь людей, практически знающих язык, стране прежде всего нужны молодые кадры ученых-славистов, вооруженных крепким и непобедимым оружием – марксистской теорией” [19. Л. 2].

В дневнике С.Б. Бернштейна не отразилась его реакция на критику в газете “Комсомолия”, это были только первые ласточки будущей идеологической кампании, но ему все тяжелее было отбиваться от политического давления руководства факультета и нападков марристов в последующие годы [20].

В 1948 г. с разделением кафедры славянской филологии на лингвистическую и литературоведческую составляющие завершился первый этап ее работы в МГУ. За пятилетие кафедра прошла трудный период становления. Была сформирована ее программа, выработаны основные курсы, много сделано для подготовки кадров преподавателей, но этот процесс остался незавершенным. С.Б. Бернштейн приложил немало сил для того, чтобы студенты получили полноценную научную подготовку по славянской филологии, свободную от антинаучных построений марристов и излишней политизации обучения в духе марксизма-ленинизма. Не все в этом плане ему удалось. Приходилось считаться с внешним давлением. Но ему можно было гордиться своими студентами. Многие из них (например академики Н.И. Толстой, О.Н. Трубачев и др.) стали впоследствии ведущими специалистами в области славянской филологии.

14 января 1945 г. С.Б. Бернштейн оптимистически записал в “Зигзагах памяти”: “Должно пройти еще несколько лет, чтобы наше славянское отделение стало университетским отделением. Но это будет! На каждом шагу вижу подлинную любовь к славянству, к славянским языкам, желание быстро овладеть специальными знаниями. Работают много все – и студенты, и преподаватели. Трудности естественны, так как пришлось начинать на голом месте”. С полным основанием можно заклю-

чить, что С.Б. Бернштейну удалось заложить крепкий фундамент для успешной работы ныне существующего славянского отделения МГУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гудков В. К 40-летию кафедры славянской филологии МГУ // Информационный бюллетень МАИРСК. М., 1984. Вып. 11.
2. Гудков В.П., Новикова А.С., Широкова А.Г. Славянская филология в Московском университете // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1984.
3. Гудков В.П., Скорвид С.С., Цыбенко Е.Э. Кафедра славянской филологии // Филологический факультет Московского университета. Очерки истории. М., 2000. Ч. 1.
4. Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
5. Бюллетень ВКВШ при СНК СССР. 1943. № 5.
6. "Решаюсь представить в ЦК ВКП(б)..." Три письма члена-корреспондента АН СССР А.М. Селищева / Публикация Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова // Вестник Академии наук СССР. М., 1990. № 10
7. Бернштейн С.Б. Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX в.) // Советское славяноведение. 1989. № 1.
8. Горяинов А.Н. Славяноведы – жертвы репрессий 1920–1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2; Робинсон М.А., Петровский Л.П. Н.Н. Дурново и Н.С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте "дела славистов" (По материалам ОГПУ – НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4.
9. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. "Дело славистов" 30-е годы. М., 1994.
10. Досталь М.Ю. Славянская комиссия АН СССР (1942–1946) // Славянский альманах 1996. М., 1997.
11. Центральный муниципальный архив г. Москвы. Ф. 1609. Оп. 2.
12. Демидов К. Русская наука и мировая культура // Славяне. 1944. № 7.
13. Бернштейн С.Б. Дмитрий Николаевич Ушаков (Страницы воспоминаний) // Вестник МГУ. 1973. Филология. № 1
14. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков (Введение. Фонетика). М., 1961; Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. М., 1974.
15. Аванесов Р.И. Сорок лет в славистике // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971.
16. Чешко Е.В. К истории создания "Атласа болгарских говоров СССР" (М., 1958) // *Dialectologia slavica*. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. М., 1995.
17. Бернштейн С.Б. О подготовке славистов-филологов в Московском университете // Доклады и сообщения филологического факультета (МГУ). М., 1948.
18. Тихонов В. Всесоюзное совещание кафедр славянской филологии // Славяне. 1948. № 6.
19. Центральный архив документальных коллекций г. Москвы. Ф. 43. Оп. 1. Д. 186.
20. Горяинов А.Н., Досталь М.Ю. Проблема научной этики в воспоминаниях С.Б. Бернштейна в 1930–1950-х гг. // Славянский альманах 2000. М., 2001.



© 2003 г. А. Р. БАГДАСАРОВ

О ВАРЬИРОВАНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОРМ В СОВРЕМЕННОМ ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ

(по материалам словарей, справочников и прессы)

Варьирование литературных норм в современном хорватском языке проявляется на всех уровнях языковой структуры и отражается в толковых словарях и справочниках. При разработке микроструктуры хорватских толковых словарей и учебных справочников возникает проблема нормативного описания отдельных лексикографических единиц. Нормативная функция в них осуществляется путем отбора заглавных слов и их значений, фиксации акцентных, орфографических, фонетических, грамматических и стилистических помет. В работах хорватских лингвистов-нормализаторов наблюдаются определенные несовпадения в описании нормативных лексикографических характеристик. Сопоставим некоторые вариантно-синонимические несовпадения в четырех различных лексикографических источниках и справочниках хорватского языка: “Словарь хорватского языка” В. Анича (далее – Анич) [1], “Хорватский языковой справочник” (далее – ХЯС) [2], “Хорватский орфографический кодекс” (далее – ХОК) [3], “Словарь хорватского языка” под редакцией Ю.Шоне (далее – Шоне) [4]¹.

Таблица²

№	Анич	ХЯС	ХОК	Шоне
1	Dàlmāacija 141; telèvizor 1187; dójam 175; kàlo 385; òsoba 704	Dalmácija/Dàlmácija 457; televizor i telèvizor 1446; dójam 484; kàlo 684; òsoba 780	– – – – –	Dàlmácija 156; telèvizor 1247; dòjam 196; kàlo 426; òsoba 776
2	pogreška 792; sprečavati 1094; strelica 1115	pogreška = pogreška 1080; sprečavati 1368; strelica 1389	pogriješka 342; sprječavati 415; strjelica 421	pogreška 864; sprečavati 1165; strelica 1186

Багдасаров Артур Рафаэлович – канд. филол. наук, доцент Московского государственного социального университета.

¹ “Хорватский орфографический кодекс” в 1994 г. одобрен Министерством культуры и просвещения Республики Хорватии для начальных и средних общеобразовательных учреждений, “Хорватский языковой справочник” разработан в Институте хорватского языка и языкознания, а “Словарь хорватского языка” – в Лексикографическом институте им. Мирослава Крлежи.

² Табличные сокращения: arh., zast. – устаревшее слово; reg., рок. – региональное, диалектное слово; raz. – разговорное слово; žarg. – жаргонное слово; m – мужской род; ž – женский род; s(r) – средний род; mn – множественное число; jd – единственное число; N, nom. – номинатив; G, gen. – генитив; – – отсутствие слова или пометы; =, / – вариант, дублет или синоним; →, > – нейтральное, нормативное слово.

3	letak, gen. jd letka, noīm. mn. leci 483; mladac, gen. jd. mlaca, nom. mn. mlaci 542; predak, gen. jd. pretka, nom. mn. preci 851	letak, -tka, mn. N letci i leci 778; mladac, mladca i mlaca, mn. N mladci i mlaci 829; predak, pretka, mn. N predci i preci 1133	letak -tka, mn. letci 273; mladac, mladca, mn. mladci 284; predak, pretka, N mn. predci 358	letak, G letka, mn. letci 538; mladac, G mladca, mn. mladci 602; predak, G pretka, mn. predci 929
4	general-bojnik 246; spomen-ploča 1092; Svisveti (Svi sveti) 1138	general-bojnik 548; spomenploča 1367; Svi sveti = Svisveti 1412	general bojnik 227; spomen-ploča 414; Svi sveti 427	general bojnik 282; spomen-ploča 1163; Svisveti 1208
5	–	arhanđel = arhanđeo 363, arkandel i arhanđeo → arhanđel i arhanđeo 364;	arhanđel/arhanđeo i arkandel / arkandeo 157;	arhanđeo → arkandeo 34;
6	pariški (pariski) 732; pica (pizza) 752 naočale i očale 584; poteškoća, teškoća 829; pedagoškinja/zarg. pedagogica 743; potražnja i tražnja 833; bičevalac 56; izrada, izradba 354; priloški, priložni 888; šaptaonica 1146	pariski → pariški 1036; pica 1051, pizza 1056 naočale = očale 867; teškoća > poteškoća 1450; pedagoškinja > pedagogica, pedagoginja 1043; potražnja = potražba 1118, tražnja → potražnja 1468; bičevalac 388; izrada = izradba 655; priloški = priložni 1174; šaptačnica → šaptaonica 1417	pariški i pariski 327; pizza 333 očale > naočale 310; poteškoća > teškoća 351; – – bičevalac 166; – priložni 369; –	pariski → pariški 805; pica 825 naočale 645; teškoća, poteškoća 1252; pedagoginja 815; potražnja → tražnja 909; bičevalac → bičevatelj 71; izrada → izradba 397; priloški → priložni 972; šaptačnica 1215
7	doseljivati 182; osvjetljivati = osvjetljivati 707; zadovoljavati 1330	doseljivati = doseljivati 491; osvjetljivati = osvjetljivati 1010; –	– osvjetljivati i osvjetljivati 322; –	doseljivati 204; osvjetljivati 779; zadovoljavati 1381
8	finale sr i m 230; kino m (sr) 404; podbjel ž 779	finale m i s 536; kino s 702; podbjel, -a 1068	finale, N mn. finali 224; – –	finale s 263; kino s 447; podbjel m 850
9	prhut = perut 878; čudovište 130; razvod 987, rastava razg. 969	perut → prhut 1048; čudovište > neman, nakaza, rugoba 451; razvod > rastava 1277	prhut > perut 366; čudovište > neman 191; rastava 387	perut → prhut 822; čudovište 149; razvod > rastava 1060
10	gablec 'полдник' 241; marenda 'полдник' 516; pivničar 'владелец пивной' 761	– marenda 'завтрак' 806; pivničar 'работник пивной' 1056	– – –	gablec 'завтрак' 241; marenda 'завтрак' 572; pivničar 'работник пивной' 831
11	bječva reg. raz. 63; čaga žarg. 114; potpunoa arh. 832; rubača reg. 1017	bječva pokr. 393; čaga žarg. 438; potpunoa zast. 1117; rubača pokr. 1301	bječva > čarapa 168; čaga (ples) 183; – rubača > košulja, rubac 397	bječva 78; čaga raz. 133; potpunoa 909; rubača 1088

Табличное расположение материала позволяет отметить нормативные колебания определенных лексических единиц и несоответствия помет в словарях и справочниках. Достаточно много различных предписаний и помет, которые противоположны или практически исключают одна другую. Варьирования в пределах тождества слова наблюдаются в следующих лексических единицах: 1) акцентные варианты слова, различающиеся как местом ударения и произношением звуков, так и его типом; 2) фонетико-орфографические варианты слова, связанные с рефлексам древнеславянского гласного [ě] в кратких слогах после так называемого прикрытого [r]; 3) фонетико-орфографические варианты, связанные со словоизменением зубных [d] и [t] перед аф-

фиксами [с] и [џ] у существительных на -tak, -dak, -tac, -dac, -tka; 4) орфографические варианты слова, связанные с раздельным, слитным или дефисным написанием; 5) фонематические варианты слова, связанные, как правило, с особенностями вхождения и ассимиляции иноязычной лексики; 6) словообразовательные (префиксальные, морфофонематические, суффиксальные) варианты слова; 7) варианты глаголов с суффиксами имперфективизации на -ava (-iva); 8) родовые варианты слова; 9) лексические несовпадения, связанные с утверждением словоупотребительных норм; 10) лексико-семантические несовпадения; 11) стилистические несовпадения, связанные с различной маркированностью.

Возможны и иные случаи промежуточного варьирования. Так, например, у Анича и в ХЯС пары *dvotočka* и *dvotočje* фиксируются как равноправные дублеты (*dvotočka* = *dvotočje*) [1. S. 202; 2. S. 510], ХОК отдает предпочтение термину *dvotočje* (*dvotočka* > *dvotočje*) [3. S. 215], а Шоне – *dvotočka* (*dvotočje* > *dvotočka*) [4. S. 226]. Интересно отметить, что в ранее изданном совместном новисадском своде правил правописания 1960 г. при отборе и унификации лингвистической терминологии вместо трех вариантных реализаций: *dve tačke*, *dvije točke* и *dvotočje* была принята кодифицированная разновидность сербской нормы в экавском и иекавском написании – *dve tačke*, *dvije tačke*. В парах *zarez* и *zapeta* ‘запятая’ кодифицирована хорватская разновидность нормы – *zarez*. Однако языковой компромисс на практике как в Хорватии, так и в Сербии строго не соблюдался. Впрочем, и в настоящее время в Хорватии не принято согласованное решение в отношении терминологических пар *dvotočka* и *dvotočje*. К примеру, в академической “Хорватской грамматике” находим лишь *dvotočka* [5. S. 457], в 11-м издании школьной “Грамматики хорватского языка” С. Тежака и С. Бабица *dvotočka* [6. S. 239], а в 12-м издании той же грамматики – *dvotočje* [6. S. 278].

В различных словарях и справочниках обнаруживаем: у Р.Ф. Полянца *porođajni dopust* ‘декретный отпуск’ [7. S. 690], у А. Менац и М. Даутовича *porodiljski dopust* [8. S. 75; 9. S. 172], у В. Анича *rodiljski*, *porodiljski dopust* [1. S. 1012], у С. Тежака и И.Б. Шамии *rodiljski dopust* [10. S. 213; 11. S. 281], в ХЯС *materinski dopust* [2. S. 1103], у Шоне *porodni dopust* [4. S. 203], у И. Протуджера *materinski*, *rodiljski dopust* [12. S. 43], у С. Павуны *porodiljni dopust* [13. S. 304]. Избыточность вариантно-синонимических реализаций и несогласованность действий лексикографов создает трудности при определении и выборе нормативного варианта или кодифицированной нормы.

Некоторые лингвисты стремятся расчленить общее смысловое содержание отдельных слов, вариантов слова или однокорневых синонимов. Так, у Анича и в ХОК слово *bol* ‘боль’ обозначено мужским и женским родом [1. S. 75; 3. S. 172], ХЯС отдает предпочтение женскому роду [2. S. 403], а у Шоне оно представлено в виде частичного омонима, т.е. если слово *bol* мужского рода, то означает ‘ощущение физического страдания’, а если женского, то ‘чувство горя, нравственное страдание’ [4. S. 90]. Слово *unutarnji* ‘внутренний’ предлагается использовать в качестве “конкретного осязаемого понятия” (напр. *srce je unutrašnji ljudski organ* ‘сердце – внутренний орган человека’), а его полный синоним *unutarnji* для обозначения “абстрактного понятия, значения” (напр. *ministarstvo unutarnjih poslova* ‘министерство внутренних дел’; *njegovo unutarnje zadovoljstvo* ‘его внутреннее удовлетворение’) [12. S. 102]. В парах *polovica* и *polovina* ‘половина’, *polovica* как “делимая часть целого” (напр. *polovica kruha, jabuke* ‘половина хлеба, яблока’), а *polovina* как “неделимая часть целого” (напр. *polovina čovječanstva, razreda* ‘половина человечества, класса’) [2. S. 1090]. Анализ функционирования вышеприведенных пар, проведенный С. Тежаком и С. Бабицем, не позволяет судить об их семантической дифференциации, речь может идти лишь о большей или меньшей частотности в языке (см.: [14. S. 107–108; 15. S. 152–155]). Подобная окказионально-семантическая поляризация нарушает давно сложившуюся понятийную и контекстуальную соотнесенность лексико-семантической микросистемы. Следует отметить, что семантическое расщепление и образование разных слов не одноразовый акт, а, как правило, более длительный процесс языковой эволюции. Безусловно, индивидуальные, порой субъективные суждения или предложения отдельных лингвистов

должны сопоставляться с объективными данными лингвистического анализа, но независимо от их истинности или ложности они подлежат изучению как один из элементов складывающейся литературной нормы.

Толковый словарь В. Анича (около 60 тыс. слов) следует отнести к регистрирующему, дескриптивному типу словаря; в нем широко представлена вариантность литературных норм, стремление автора как можно полнее отразить картину реального языкового многообразия. Помимо лексики литературного языка в него включены единицы территориальных и социальных диалектов, историзмы, архаизмы, деархаизмы (“реанимированные” слова), вулгаризмы, неологизмы, окказиональные образования. Однако словарь Анича не отказывается полностью от своей нормализаторской роли (сам автор относит свой словарь к описательно-нормативному типу), и эта роль наглядно проявляется в отборе вокабул и в использовании нормативно-стилистических помет, например *razg.*, *općejez.*, *neutr.*, *v.*, *srp.*, *žarg.* и т.п., свидетельствующих о наличии нейтральной, нормативной лексемы или предостерегающих читателя от ошибочного стилистически маркированного употребления (см.: 1. S. 1404–1437]). Одноязычный словарь под редакцией Ю. Шоне (64 тыс. слов), ХЯС (около 80 тыс. слов) и ХОК, в сопоставлении с Аничем, который менее строг по отношению к предписывающей норме, тяготеют к прескриптивному способу описания лексики. Некоторые лексемы в них помечаются “стрелкой” (→, >), отсылающей пользователя к нейтральному, нормативному эквиваленту.

При рассмотрении вопросов функционирования, взаимодействия и столкновения лексем-конкурентов как объективной реальности и кодифицированной нормы необходимо определить, каким образом и в какой мере предписания словарей и справочников соответствуют письменной и устной речи (см.: [16. S. 140–141; 17. S. 1241–1242]). В противопоставлении парных слов заимствованный/исконный лингвист-нормализаторы (в особенности пуристы) отдают нормативные предпочтения хорватским эквивалентам. Например *razvod* > *rastava*, *ekspert* > *stručnjak*; *vještak*, *hapšenje* > *uhíćenje*, *filter*, *filtr* > *cjedilo*, *prokapnik*, *mitraljez* > *strojnica*, *protest* > *prosvjed*, *vešmašina* > *perilica* (*rublja*), *budžet* > *proračun*, *opozicija* > *oporba*, *trening* > *vježbanje*, *firma* > *tvrtka*, *aerodrom* > *zračna luka*. Однако в языковом узусе хорватского стандартного языка наблюдается функционирование как второго, так и первого члена варьирующих пар. Приведем несколько примеров из хорватской прессы: “Nažalost, statistike ne navode razloga **razvoda**, pa se i ne zna koliki je postotak **razvoda** zbog nevjera bračnih partnera” (Mila. № 728. 16 IX 02. S. 35). “Zbog toga **eksperti** predlažu...” (Nacional. № 294. 3 VII 01. S. 9). “Pa su desničari prijetili oružjem ... ako se nastave **hapšenja** ratnih zločinaca” (Globus. № 566. 12 X 01. S. 112). “Kod odabira **filtera** za vodu najčešće su želje za **filterima** koji bi rješili...” (Nacional. № 294. 3 VII 01. S. 53). “Brojni kompleti zrakoplovnih **mitraljeza** i topova sastavljaju se od streljiva...” (Hrvatski vojnik. № 76. X 01. S. 59). “Španjolska je jučer uložila ozbiljan **protest** Maroku...” (Jutarnji list. № 1507. 13 VII 02. S. 80).

При изучении устной, живой речи обнаруживается, что ее функционирование не дает оснований для однозначных утверждений в пользу предписываемой нормы. Приведем несколько примеров из устных выступлений: “...SDP i HDZ imaju prilično slične programe, a i svaka **vešmašina** ima 13 različitih programa” (Glas Istre. № 189. 13 VII 02. S. 6). «Gorka je činjenica da smo mi mogli prikazati i “izračunati” **budžet** kako god smo htjeli» (Globus. № 560. 31 VIII 01. S. 36). “**Opozicija** treba ukazivati na pogreške vlasti...” (Globus. № 562. 14 IX 01. S. 38). “...Nikad nisu zakasnili na **trening**...” (Tena. № 170. 7 VI 02. S. 56). Известный лингвист-нормализатор С. Тежак пишет: “Лично я говорю *maslac*, *rajčica*, *vrč*, но в магазине, в небольшом ресторанчике, на рынке и дома слышу *putar*, *paradajz*, *krigla*. Более того, – продолжает лингвист, – я и сам стал заказывать *kriglu piva* [кружку пива] после того, как в ответ на мою неоднократно повторенную просьбу: “Пожалуйста, *vrč piva* [кружку пива]” официанты растерянно смотрели на меня и уточняли: “Бокал?” Я настаивал: “Vrč!” [Кружку!], они – “Бутылку?” И так они меня допекли

своим непониманием, что я был вынужден произнести крайне неприятное и чуждое для меня слово Krügel, т.е. Kriglu!..." [14. S. 187].

"Оценка приемлемости слова, – утверждает К.С. Горбачевич, – правильности употребления его в том или ином значении в большей мере, чем, скажем, ударение и произношение, связана с идеологией, мировоззрением носителей языка, степенью их культурно-образовательного уровня и глубиной освоения литературной традиции" [18. С. 33]. Употребление того или иного варианта зависит от языковых навыков и социальных различий носителей хорватского языка: возраст, место рождения, уровень образования, профессия и др. В живой диалектной речи пожилого крестьянина, сборщика винограда из Истрии Джулиано Милановича вместо предписываемых норм словоупотребления tvornica, tvrtka, kuhati находим: "Zgubili su posal, zatvorili su u Labinštini sve **fabrike**. Ništa nemaju i moraju da dođemo radit ovdje. A kad bi ovo bilo bolje plaćeno u ovoj **firmi** i kad bi sve **firme** radile, mi bi sretni u ovoj državi". "Sad ja čujem na televiziji u onoj poljoprivrednoj emisiji da ovaj neki **kuva** koprivu..." (Feral tribune. № 836. 22 IX 01. S. 75–76).

Исконные и заимствованные дублетные слова и синонимы используются в одном и том же тексте, абзаце, сложном предложении для того, чтобы избежать повторов и добиться разнообразия авторской речи. Например: "...Kad je Diana uhićena u **zračnoj luci**...". "Diana je uhićena na londonskom **aerodromu**..." (Glorija. № 387. 7 VI 02. S. 45). "**Tadašnji** su se **jezikoslovci** zdušno bacili... Pri tome valja imati na umu činjenicu da su mnogi **tadanji lingvisti** bili mladi..." (M. Samarđžija. Jezikoslovni razgovori. Vinkovci, 2000. S. 22). "Pozvan je u vrijeme **uhićenja** osumnjičenika za ubojstva u splitskom vojnom zatvoru u Lori – rođinjena početkom devedesetih – te malo poslije **hapšenja** grupe Bjelovarčana optuženih za hladnokrvno umorstvo petorice zarobljenika" (Globus. № 565. 5 X 01. S. 8).

Иноязычные, стилистически окрашенные слова используются авторами для придания тексту этнолингвокультурного или регионального колорита. Так, при описания жизни мусульманских этносов, автор использовал в своем тексте вместо стилистически нейтрального слова rubac 'платок' стилистически окрашенный османизм (турцизм) marama, усилив его прилагательным субъективно-конкретной оценки – **muslimanska marama** 'мусульманский платок': "Sve su one lica prekrile **muslimanskim maramama**..." (Feral tribune. № 836. 22 IX 01. S. 11).

Кодифицированная или предписываемая норма и реальная норма (языковой узус) объективно и неизбежно расходятся³. На начальном этапе требования нововведений не исполняются из-за отсутствия у носителей языка необходимых языковых навыков, а впоследствии, по-видимому, из-за нежелания или языковой некомпетентности. Так, в противопоставлении суффиксальных (морфематических) дублетов uskršni и uskršnji 'пасхальный', лингвисты-нормализаторы отдают предпочтение более продуктивному и стилистически нейтральному слову uskršni (см.: [14. S. 110–111; 23. S. 148–150]). Языковеды признают лексическое равноправие дублетов uskršni и uskršnji и оставляют право выбора за пользователем, однако отмечают их стилистическую неравноценность, которая тем не менее игнорируется носителями языка, поскольку в своем речевом репертуаре они используют оба слова вне их стилистической противопоставленности. Ср. фрагменты высказываний о традиции семейного празднования Пасхи: 1) "Sjećam se i **uskršnjeg** doručka...". "Na **uskršni** ručak doći će...". 2) "Na **uskršnji** doručak, koji je pripremila...". "Za **uskršnji** doručak pripremit ću...". 3) "Iako je misterij..., **uskršnje** bdijenje, s čitanjem...". 4) "To su šunka, jaja i **uskršna** pogača...". "...Iz djetinjstva pamtim da su žene **uskršnje** pogače...". "Uz **uskršnji** doručak s tom blagoslovljenom hranom...". 5) "Stoga smo mi ... iščekivali nedjelju i **uskršni** doručak" (Mila. № 547. 31 III 99. S. 16–17)⁴.

³ О нормировании хорватского стандартного языка подробнее см.: [19; 20; 21; 22].

⁴ О вмешательстве или невмешательстве "лектора" (редактора) в текст устной речи рассказчиков нам неизвестно.

Лексическое варьирование во многом связано с коренными социально-политическими и государственным преобразованиями. Распад шестисубъектной федерации (СФРЮ), образование нового государства (Республика Хорватия), смена идеологии, нестабильность, рост национального самосознания, возрождение этнолингвокультурных традиций усиливают пуристические и реставрационные тенденции в развитии хорватского стандартного языка, вследствие чего количество собственно хорватских неологизмов, окказионализмов и деархаизмов увеличивается, а количество заимствованных дублетных слов уменьшается. Так, вместо общеупотребительного слова *helikopter*⁵ ‘вертолет’ Б. Ласло предложил окказионализм *uvrt*, И. Протуджер *vrtilet*, Т. Ладан *vrtložnjak* или *vrtložnik*, И.Б. Шамия и Д. Лукачич – *samovrtjelica*, З. Шоят – *vrtložnjak*, а в качестве жаргонизма – *zrakomlat*. Литератор и языковед Т. Ладан, преподаватель хорватского языка, журналист И. Протуджер взамен слова *helikopter* приводят множество различных “тождесловов”: *samovrt*, *vrtoplov*, *svrdoplov*, *svrdlokriil*, *vitokriil*, *svrdlokriilac*, *vrtikriilac*, *zrakovrt*, *vrtikriil*, *svitokriil* [24. S. 1075]; *vrtolet*, *vrtimlat*, *vrtomlat*, *vrtoplov*, *vrtiplov*, *vrtikriil*, *vrtikriilo*, *vrtležnjak*, *vrtložnjak*, *vrtuljak*, *vrtolica*, *zrakomlat*, *zrakolet*, *uvrtnjak*, *zavrtnjak*, *krivovrt* [12. S. 53]. Вместо английского заимствованного слова *best-seller*⁶ находим: *gazgrabnica* [25. S. 12], *uspješnica* [26. S. 13; 1. S. 1263; 2. S. 384; 12. S. 182]⁷, *uspjelica* [4. S. 1320]. Индивидуально-авторская пуристическая эйфория начала 90-х годов XX в. приводит к созданию гипертрофированных окказиональных неологизмов, “слов-самоделок”: *tjemenac* или *glavoštitnik* ‘kaciga’, *odmoridbenik* ‘turist’, *daljinoprijenosnik* ‘teleks’, *obustavidba* ‘moratorij’, *vrhoskuplje* ‘samit’ и т.п. [27. S. 106, 111]. Пуризм вызван не только стремлением сохранить свою этнолингвокультурную самобытность, но и желанием самовыразиться, привлечь к себе внимание окружающих. В этой связи уместно привести высказывание Э. Хаугена о том, что “лингвист со своей грамматикой и лексикой может предлагать что угодно, если нет методов, которые обеспечивали бы внедрение его программы. Исследование этого вопроса лежит в русле действия средств массовой информации и больше подошло бы, пожалуй, специалисту в области рекламы, чем в области языка. В конечном счете решение принимается носителями, последней инстанцией в этом деле” [28. С. 464].

Наоборот, стабилизация общественно-политической и экономической жизни страны, широкое взаимодействие и взаимопроникновение современных культур, процессы глобализации, стремление войти в “новую Европу”, вступить в Европейский союз способствуют уменьшению пуристических настроений, увеличивая или возвращая заимствованные дублеты в сферу общественной и культурной жизни. Так, например, если в начале 90-х годов XX в. в “Хорватском войне” (журнале министерства обороны Республики Хорватии) встречаем собственно хорватские деархаизмы и неологизмы: *brzoglas* ‘телефон’, *dalekoumnoživač* ‘факс’, *zrakoplov* ‘самолет’, *strojnica* ‘пулемет’, *tank*, а в середине 90-х годов вместо *helikopter* ‘вертолет’ *vrtolet*, то на рубеже веков при смене редакционной политики терминологическая картина вновь возвращает нас к заимствованным, общеупотребительным словам: *telefon*, *fax*, *tenk*, *helikopter*, к параллельному использованию *aviona* и *zrakoplova*, *mitraljeza* и *strojnice*. Ср.: “**Brzoglas**. **Dalekoumnoživač** (fax)”. “Najveći broj pogodaka završava na najranjivijim mjestima **tanka**, najčešće na onom između kupole i tijela **tanka**”. “Deseta taktička skupina sastoji se od **helikoptera**...” (Hrvatski vojnik. № 39. 4 VI 93. S. 3, 27, 32) – “Ovaj sustav montira na krov **vrtolet**...” (Hrvatski vojnik. № 9. III 96. S. 66) – “**Tel(efoni). Fax**”. “Suvremeni **tenk** može ostati u borbi znatno duže nego što to može **avion, helikopter** i bespilotna letjelica...” (Hrvatski vojnik. № 87. IX 02. S. 4).

⁵ *Helikopter* от греч. *helix* – спираль, винт и *pteryn* – крыло; ср. рус. уст. геликоптер, автожир, искон. советизм вертолёт, жарг. вертушка.

⁶ Из англ.: *bestseller* (от *best* – лучший и *sell* – продаваться).

⁷ У И.Б. Шамии *uspješnica* означает ‘женщина, пользующаяся успехом’ [11. S. 140].

Материалы толковых словарей и справочников дают основание условно говорить о трех типах или подходах к нормативности хорватского языка:

– норма 1-го типа – императивная, жесткая, строго ограничивающая вариантные и синонимические реализации языковой системы [11; 25; 29; 30. S. 11–73];

– норма 2-го типа – императивно-диспозитивная, нейтральная, допускающая равнозначные вариантные и синонимические реализации с предпочтением собственно хорватских языковых единиц [2; 4];

– норма 3-го типа – диспозитивная, более описательная, подвижная, допускающая использование различных вариантов, синонимов, региональных и разговорных форм [1; 9]⁸.

Соответственно, в зависимости от подходов к стандарту хорватского литературного языка можно с той или иной долей уверенности говорить о **языковом консерватизме**, как проявлении ярого пуризма (1-й тип), **языковом центризме**, представляющем умеренный пуризм (2-й тип) и **языковом либерализме**, склонном к определенной антинормативности (3-й тип). На наш взгляд, нынешняя языковая ситуация и языковая политика идут по пути нормирования хорватского литературного языка, опираясь на взвешенный языковой централизм.

Приведенный языковой материал свидетельствует, с одной стороны, о рассогласованности действий субъектов языковой политики и отдельных лингвистов при стандартизации вариантных и синонимических реализаций литературных норм и, с другой, о неустойчивости и нестабильности определенных нормативно-стилистических дифференциаций вариантов и синонимов в реальной языковой практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anić V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1998.
2. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.
3. Babić S., Finka B., Moguš M. Hrvatski pravopis. Zagreb, 2000.
4. Rječnik hrvatskoga jezika / Glavni urednik Jure Šonje. Zagreb, 2000.
5. Barić E. i dr. Hrvatska gramatika. Zagreb, 1995.
6. Težak S., Babić S. Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, 1996; 2000.
7. Poljanec R.F., Madatova-Poljanec S.M. Rusko-hrvatski rječnik. Zagreb, 1973.
8. Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. Zagreb, 1979.
9. Dautović M. Hrvatsko-ruski rječnik. Zagreb, 2002.
10. Težak S. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni. Zagreb, 1999.
11. Šamija I.B. Hrvatski jezikovnik i savjetovnik. Zagreb, 1997.
12. Protuđer I. Pravilno govorim hrvatski 3. Split, 2000.
13. Pavuna S. Rusko-hrvatski rječnik. Zagreb, 2001.
14. Težak S. Hrvatski naš svagda(š)nji. Zagreb, 1991.
15. Babić S. Polovica ili polovina kao pitanje // Jezik. 2000. Br. 4.
16. Багдасаров А.Р. К вопросу о функционировании лексических дублетов исконный / иноязычный в хорватском литературном языке // Славистический сборник: В честь 70-летия профессора П.А.Дмитриева. СПб., 1998.
17. Bagdasarov A.R. Socijalno-politički aspekti funkcioniranja leksičkoga sustava suvremenoga hrvatskoga jezika // Forum. 2001. Br. 7–9.
18. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. М., 1989.
19. Brozović D. Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskome svjetlu // Jezik. 1998. Br. 5.
20. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb, 1999.
21. Багдасаров А.Р. О нормировании хорватского литературного языка и языковой политике в 80–90-х годах XX века // Славяноведение. 2002. № 3.
22. Samardžija M. Nekoč i nedavno. Rijeka, 2002.

⁸ О понятиях императивная и диспозитивная норма см. [31. С. 60].

23. *Babić S.* Hrvatski jučer i danas. Zagreb, 1995.
24. *Lađan T.* Riječi: značenje, uporaba, podrijetlo. Zagreb, 2000.
25. *Šimundić M.* Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku. Zagreb, 1994.
26. Rječnik novih riječi: mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima. Zagreb, 1996.
27. *Pranjković I.* Jezikoslovna sporenja. Zagreb, 1997.
28. *Хауген Э.* Лингвистика и языковое планирование // Социалингвистика: Новое в лингвистике. М., 1978. Вып. 7.
29. *Krmpotić M.* Hrvatski jezični priručnik. Zagreb, 2001.
30. *László B.* Pabirci redničkoga i obavjestničkoga pojmovlja oko razumnih sustava // Obrada jezika i prikaz znanja. Zagreb, 1993.
31. *Вендина Т.И.* Введение в языкознание. М., 2001.



© 2003 г. И. В. ЧУРКИНА

РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В ТАРТУСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Редкому городу выпадала такая судьба, как эстонскому Тарту. Он был основан киевским князем Ярославом Мудрым в 1030 г. и назван его христианским именем Юрьев. В 1224 г. его завоевал немецкий орден меченосцев, и Юрьев получил немецкое имя Дерпт. До 1558 г. здесь пребывал дерптский епископ. Затем на недолгое время Дерпт перешел в руки Ивана Грозного, у которого его отобрал в 1582 г. польский король Стефан Баторий. Он основал в городе учебное заведение коллегий. С 1625 г. Дерпт отошел к шведам. Шведский король Густав-Адольф в 1630 г. открыл здесь гимназию, которая в 1635 г. была преобразована в университет с четырьмя факультетами: богословским, юридическим, медицинским и философским. Его студентами были в основном шведы и некоторое количество немцев. Профессора были приглашены из немецких университетов, языком обучения являлся латинский. С перерывами Дерптский университет просуществовал до взятия русскими войсками города в августе 1710 г. Правда, в последнее десятилетие перед этим он действовал в Пернове (Пярну).

В апреле 1802 г. по указу императора Александра I в Дерпте был открыт новый университет. Его устав утвердили 12 сентября 1803 г. В первом параграфе отмечалось, что университет “учрежден в Российской империи для общего блага, в особенности же для пользы Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Финляндской губерний”. Как и в университете Густава-Адольфа в нем устанавливалось четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и философский. На последнем изучались физико-математические, естественные, филолого-исторические, технологическо-экономические науки. Кроме того в университете имелись учителя русского, немецкого, латышского, эстляндского, финляндского, французского и английского языков. По уставу 1803 г. в университете предусматривались должности профессора русского языка и словесности и лектора русского языка [1. С. 142–147]. Студенты и профессора университета в основном были немцами, поэтому с самого начала языком обучения стал немецкий, русский язык изучался на правах иностранного.

Все же уже в первые годы существования Дерптского университета в нем делает свои первые шаги славистика. В 1811–1813 гг. профессором русского языка и словесности в нем был один из первых русских славистов А.С. Кайсаров (1782–1813). Он учился в Благородном пансионе при Московском университете, затем служил в армии. В 1802–1806 гг. Кайсаров слушал лекции в Геттингенском университете и закончил его, защитив докторскую диссертацию “Об освобождении русских

крепостных”. Она была опубликована на латыни в 1806 г. Одним из профессоров университета был знаменитый немецкий славист А.Л. Шлецер. Не без влияния последнего Кайсаров вместе с А.И. Тургеневым совершил путешествие по славянским землям. Последний так вспоминал об этом в 1844 г.: “Он был один из первых славянофилов, и мы вместе учились у Шлецера, работали для его Нестора, вместе жили и собирали рукописи славянские и книги в Карловце ... у митрополита Стефана Стратимировича, коему Шлецер посвятил одну часть своего Нестора” [2. С. 36–37]. Кроме Стратимировича Кайсаров познакомился с сербским поэтом Л. Мушицким, с которым переписывался. В результате Кайсаров написал “Исследование по языческой мифологии славян”, которое было опубликовано в 1804 г. на немецком, а в 1807 и 1810 гг. на русском языках. Он задумал создать также “Сравнительный словарь славянских наречий” и приступил к его подготовке. В Дерпте Кайсаров читал курс лекций “Древняя русская история в памятниках языка”. 12 ноября 1804 г. с университетской кафедры он произнес речь “О любви к отечеству”, прославлявшую русские победы над турками. Это была первая речь на русском языке в стенах университета. В ней Кайсаров призывал молодежь изучать русский язык. “Счастлив был бы я, – сказал он, – если бы вы, юноши ... увидели, сколь необходим для вас язык народа величайшего в свете, язык вашего отечества” [1. С. 303]. Когда началась война с Наполеоном, Кайсаров отправился добровольцем в армию, доказав на деле свой патриотизм. 14 мая 1813 г. он погиб в сражении при Гайнау в Силезии.

После Кайсарова кафедру русского языка и словесности возглавлял А.Ф. Воейков, не внесший сколько-нибудь заметного вклада в русистику, а в 1820 г. его сменил В.М. Перевощиков (1785–1851). Он читал лекции по истории русской литературы и считался одним из ведущих специалистов в этой области. В 1827–1838 гг. при Дерптском университете существовал профессорский институт, который готовил к профессорскому званию выпускников Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского университетов. Заведовал им Перевощиков. В 1835 г. он был избран действительным членом Российской Академии наук. После Перевощикова в 1836–1867 гг. во главе кафедры русского языка стоял историк русской литературы XVIII–XIX вв. М.П. Розберг.

Во время правления Николая I властями не раз предпринимались попытки заставить профессоров и студентов изучать русский язык, однако безуспешно. При Александре II вопрос об этом не поднимался. Немецкая профессура восприняла это как свою победу. В статье о Дерптском университете Николаи, назвав его “форпостом немецкой науки и рассадником немецкой культуры” в Прибалтике, заканчивал свой опус следующим образом: “Самым утешительным является то, что немецкий дух остался победителем в Дерпте после различных препятствий и борьбы” (см.: [3. С. 5]). Форпост и рассадник немецкой культуры в Прибалтике – именно так рассматривали прибалтийские немцы роль Дерптского университета в своих планах германизации эстонского и латышского населения.

В 1865 г. был утвержден новый устав Дерптского университета, согласно которому кафедра русского языка и словесности преобразовывалась в “кафедру русского языка в особенности и славянского языковедения вообще”. С одной стороны, задача кафедры расширялась – она была призвана обучать не только русскому языку, но и знакомить студентов с языками других славянских народов, с другой – задача кафедры суживалась, ибо русская литература как бы выпадала из ее ведения. Именно во второй половине XIX в. кафедра русского языка в Дерптском университете становится одним из российских центров славистики. Связано это было не только с изменением ее профиля, но главным образом и с развитием славяноведения в России, с появлением в ней значительного числа профессиональных славистов.

В 1867 г. профессором кафедры русского языка стал А.А. Котляревский (1837–1881), ученик О.М. Бодянского и Ф.И. Буслаева, филолог, историк, археолог и этнограф. В 1868 г. он защитил магистерскую диссертацию “О погребальных обычаях языческих славян”. Котляревский читал в Дерптском университете курсы: “Энцик-

лопедия славяноведения”, “Славянские древности”, “Теория древнеславянского языка”, “Толкование Краледворской рукописи”, “История русской литературы с Петра Великого” и др. Как можно видеть, тематика его лекций расширилась по сравнению с тематикой предшественников, особенно за счет славистики. Правда, в письме к И.И. Срезневскому от 17 ноября 1868 г. Котляревский замечал, что на курс по истории русской литературы к нему ходят 30–50 студентов, а на курс “Энциклопедия славяноведения” всего 5 человек [2. С. 70]. В Дерптском университете Котляревский проработал до 1873 г. В 1874 г. он защитил докторскую диссертацию по древней истории поморских и балтийских славян и перешел в Киевский университет.

Преемником Котляревского на кафедре стал историк русской литературы П.А. Висковатов (1842–1905), прослуживший в Дерптском университете более 20 лет (1874–1895). Человек он был образованный, учился в Петербурге, в университетах Франции и Германии, но диссертации так и не защитил, хотя с ноября 1874 г. числился и.о. экстраординарного профессора. Висковатов читал лекции общие для студентов всех факультетов по истории русской литературы, а также лекции специальные только для студентов-филологов. Последние курсы были следующие: “Русский народный эпос”, “История русской литературы с Петра Великого”, “История литературы сербов и болгар”, “Славянские древности”, “Русские писатели XI–XVI вв.” и др. Висковатов являлся активным деятелем Славянских комитетов: в 1876 г. он организовал и отправил в Сербию три санитарных отряда, был в Сербии главным уполномоченным Московского славянского комитета, писал оттуда корреспонденции в “Голос”. В 1877 г. Висковатов являлся уполномоченным Красного Креста на Дунае.

С 1865 г. на “кафедре русского языка в особенности и славянского языкознания вообще” помимо профессорской появилась и должность доцента. Из доцентов наиболее значительный вклад в славистику внесли А.А. Соколов (1848–?) и Леонгард (Готтхильф) Карлович Мазинг (1845–1936), оба уроженцы Прибалтики.

А.А. Соколов, лингвист и литературовед, окончил историко-филологический факультет Дерптского университета, слушал лекции профессоров Московского университета Ф.И. Буслаева, Н.А. Попова, С.М. Соловьева и др. В 1878 г. он защитил магистерскую диссертацию “Зарождение литературы у словенцев. Примус Трубар”. С 1879 по 1882 г. Соколов в качестве приват-доцента по кафедре русского языка читал несколько курсов лекций: “Грамматика старославянского языка”, “История болгарской литературы”, “Сербский язык”, “Чешский язык”, “Русский язык”, “Основы древнеславянской жизни и верований”, “Об отношении славянского языка к родственным” и др. [2. С. 83, 84; 4. Л. 5].

Сменивший Соловьева Мазинг происходил из эстонской протестантской семьи, окончил богословский факультет Дерптского университета, но затем увлекся языкознанием, слушал лекции по славистике в Германии. С 1880 г. работал на кафедре русского языка, читал для студентов курсы по церковнославянскому языку, по истории русского языка, по литовскому и южнославянским языкам. В 1886 г. Мазинг защитил магистерскую диссертацию по “Изборнику” великого князя Святослава Ярославича 1073 г., в 1890 г. докторскую диссертацию о македонских говорах. Мазинг 45 лет проработал на кафедре русского языка, лекции читал на русском и немецком языках.

В 1883 г. в университете появилась вторая кафедра, связанная со славистикой, кафедра сравнительной грамматики славянских наречий. Она просуществовала 18 лет, ее профессорами были в 1883–1893 гг. блестящий лингвист Иван Александрович (Ян Нецислав) Бодуэн де Куртенэ и в 1893–1901 гг. видный славист А.С. Будилович. Именно с деятельностью этих ученых связан расцвет славистики в Дерптском университете.

До прихода в Дерптский университет Бодуэн (1845–1929) уже защитил диссертации: магистерскую “О древнепольском языке до XIV столетия” (1870) и докторскую “Опыт фонетики резьянских говоров”, а также работал с 1874 по 1883 гг. сначала

доцентом, а затем профессором Казанского университета. В Дерпт он попал по рекомендации Мазинга и работал там десять лет. В представлении историко-филологического факультета в Совет университета от 24 ноября 1882 г. Бодуэн характеризовался следующим образом: “Научная деятельность Бодуэна признана с многих сторон. Его можно ставить рядом с Миклошичем, Ягичем, Лескиным и Потевнею”. И далее указывалось: “На подлежащий запрос Лескин и Ягич оба отозвались, что из молодых славянских филологов никто не может конкурировать с ним в занятии кафедры” [5. Л. 14об., 15об.]. Бодуэн читал курсы лекций по славистике, но наряду с этим он вел и курсы литовского и латышского языков. “Я считаю своею обязанностью, – писал Бодуэн в прошении на историко-филологический факультет от 24 февраля 1885 г., – не ограничиваться только славянскими языками, но в цикл преподаваемых мною отделов языкознания вводить также языки балтийские, как ближайшие родственные славянским” [5. Л. 44, 44об.]. За время преподавания в Дерптском университете Бодуэн получил командировку в Литву (1885) и три командировки в южнoслoвенские земли (1890, 1892, 1893).

А.С. Будилович (1846–1908) был приглашен в Дерпт по особому случаю. В царствование Александра III в правящих кругах России снова встал вопрос о необходимости сделать русский язык языком обучения в Дерптском университете. В 1882 г. все его профессора являлись немцами и читали свои курсы на немецком языке. Исключение составляли профессора русской словесности и православного богословия, которые вели преподавание по-русски [6. С. 31]. В 1882–1883 гг. сенатором В. Манасейном была проведена ревизия Дерптского университета. Согласно его выводам, Дерптский университет не выполнил задач, поставленных перед ним: не стал связующим звеном между Западной Европой и Россией и не удовлетворил потребности местного населения (эстонцев и латышей). Он превратился в опорный пункт остзейских немцев, препятствовавших консолидации Прибалтики с другими областями России. Манасейн полагал, что для исправления положения необходимо перевести преподавание в Дерптском университете на русский язык [7. С. 95]. Весной 1887 г. был издан указ о введении в Дерптском университете преподавания на русском языке. В июле того же года министр народного просвещения И.Д. Делянов писал в докладной записке царю: “Выделение русского языка ... при немецком преподавании не достигает цели. Это доказывается примером Дерптского университета ... Без преподавания на русском языке все меры к усилению знания государственного языка в Прибалтийском крае будут бесплодны. В течение 60 лет правительство увеличивало не раз число уроков по русскому языку, а между тем несколько поколений прошедших через школу, не в состоянии говорить по-русски” [6. С. 56].

Будилович был назначен в Дерптский университет с целью провести его русификацию. Он сумел это сделать. Было издано несколько указов, способствовавших этому: о повышении пенсий профессорам, преподающим на русском языке (1892), о переводе преподавания на русский язык в течение двух лет (1893) и др. К концу 1899 г. в Юрьевском университете (так стал называться Дерптский университет с 1893 г.) остались всего шесть профессоров, не владевших русским языком [3. С. 82]. Не останавливаясь подробно на этой стороне деятельности Будиловича, мы все же выскажем свое мнение о ней. Она имела в то время положительное значение для эстонского населения, так как перекрыла один из важных каналов его германизации, которая угрожала ему в гораздо большей степени, чем русификация.

То, что состав профессуры в Юрьевском университете стал по преимуществу русским, стало одной из причин расцвета славистических исследований в университете. В 1897 г. по инициативе историка русской литературы профессора Е.В. Петухова (1863–1948) при поддержке Будиловича в Юрьеве при университете было основано Учено-литературное общество, в которое вошли русские преподаватели университета, а также некоторые учителя из местных русских учебных заведений. Целью общества являлось содействие “разработке и распространению знаний в области археологии, истории, литературы и права и взаимному обмену мыслей по вопросам, от-

носящимся к упомянутым наукам”. Председателем его был избран Будилович, занимавший этот пост до своего отъезда из Юрьева в 1901 г. Затем общество год возглавлял Е.В. Петухов, а после него до 1917 г. – профессор церковного права М.Е. Красножен [8. С. 49–51]. В первые годы существования Учено-литературное общество проводило приблизительно по десяти заседаний в год. Так с октября 1897 по апрель 1898 г. общество провело девять заседаний, на которых было заслушано 14 рефератов, в том числе пять касающихся непосредственно славяноведения: профессор по кафедре всеобщей истории в 1896–1911 гг. А.Н. Ясинский (1864–1933), специалист по истории средневековой Чехии, сделал три доклада, Петухов – реферат о поездке к лужицким сербам, Будилович – реферат о возможности разработки славянской истории как самостоятельной науки [9. С. XVI, XVII]. И позднее Будилович и Ясинский неоднократно выступали с рефератами на славистические темы.

Большинство рефератов публиковалось в “Сборнике Учено-литературного общества при императорском Юрьевском университете”, которых в 1897–1917 гг. вышло 23 тома. Кроме рефератов в них печатались отчеты о деятельности общества за год, а позднее правительственные распоряжения о высшей школе, хроника жизни университетов и т.д. [8. С. 53].

После ухода Будиловича славистика в университете не заглохла: там до 1911 г. продолжал работать А.Н. Ясинский, в 1907–1915 гг. преподавал языковедение Н.К. Грунский (1872–1951), который изучал историю древнеславянской письменности, исследовал глаголические, латинские и кирилловские славянские памятники, активно публиковался в “Сборнике Учено-литературного общества” (девять публикаций) [8. С. 53]. В 1916 г. Грунского сменил Г.А. Ильинский (1876–1937), прослуживший на кафедре русского языка до 1918 г. Ильинский был прекрасным лингвистом и одновременно историком и археографом. Он подготовил ряд образцовых изданий старославянских, средневековых болгарских и сербских текстов. Ильинский вместе с Юрьевским университетом переехал во время военных действий в Прибалтике в Первую мировую войну в Воронеж. Несколько обособленно протекала деятельность уроженца Словакии профессора Я. Квачалы (1862–1934). Доктор философии и доктор теологии он некоторое время преподавал в Евангелическом лицее Братиславы, откуда и был приглашен в 1893 г. на богословский факультет Будиловичем. Квачала в течение 20 лет противостоял немецкому большинству на факультете. В 1905 г. он предложил расширить его, создав дополнительно четыре кафедры, в том числе три практического богословия на эстонском, латышском и польском языках. Немецкие богословы отвергли это предложение. Квачала читал лекции по истории церкви, о школе и церкви во время реформации и др. Предметом его особого интереса был известный чешский педагог Ян Амос Коменский. В 1903 и 1905 гг. в Берлине вышел труд Квачалы о реформе педагогики, проведенной Коменским; в Праге он опубликовал переписку Коменского с Д. Яблонским и Г. Лейбницем. Статьи Квачалы о Коменском и Яне Гусе выходили в русских изданиях. Вместе с русскими преподавателями Квачала в 1918 г. уехал в Воронеж, а оттуда в 1920 г. вернулся на родину [7. С. 96, 97].

После образования независимого Эстонского государства в 1919 г. возобновилась деятельность Юрьевского-Дерптского университета, получившего теперь название Тартуского. В нем была кафедра славянской филологии. Возглавлял ее в 1919–1925 гг. профессор Мазинг. В межвоенный период кафедра славянской филологии не имела никаких контактов с русскими научными учреждениями. Зато активно развивались связи с Варшавским университетом. Душой этих связей стал эстонец В. Эрниц. Он научился польскому языку у профессора Мазинга и многие годы преподавал эстонский язык в Варшавском университете. В то же время польские преподаватели вели занятия по польскому языку в Тарту.

После Мазинга кафедрой славянской филологии заведовал профессор А. Стендер-Петерсон. В 1934–1944 гг. ее возглавлял крупный славист П. Арумаа. Он был

большим знатоком русского языка и много лет работал над составлением Русско-эстонского словаря. Часть его он издал в 1940 г. В 1944 г. Арумаа эмигрировал в Швецию, и оставшиеся материалы были доведены до кондиции Б.В. Правдиным и Й.В. Вески и изданы ими в 1945–1947 гг. Второе издание словаря вышло в свет в 1975 г.

В межвоенный период на кафедре славянской филологии учились в основном русские студенты: в 1920–1930-е годы в Эстонии проживало до 90 тыс. русских. Русские студенты изучали старославянский, чешский, русский языки. Летом они собирали фольклор в русских деревнях, изучали русские диалекты.

После вхождения Эстонии в СССР и окончания Второй мировой войны в Тартуском университете вместо кафедры славянской филологии были созданы кафедра русского языка (1946) и кафедра русской литературы (1947). На первой кафедре работали такие выдающиеся языковеды как А. Правдин, М.А. Шелякин, С.В. Смирнов. Кафедра выпускала в 1972–1982 гг. сборники “Вопросы русской аспектологии”. Среди литературоведов выделялся крупнейший специалист по русской литературе конца XVIII – первой половины XIX в. Ю.А. Лотман. Особое место в его творчестве занимал А.С.Пушкин. “Пушкин был для ученого, – пишет В. Вахрушев, – вдохновляющим образцом гениального творца и человека, которому он посвятил, возможно, лучшие свои работы” [10. С. 343]. Кроме Лотмана русской литературой занимались Б.Ф. Егоров и П.С. Рейфман (русская критика и журналистика середины XIX в.), З.Г. Минц и В.И. Беззубов (русский серебряный век). С.Г. Исаков и В.Т. Адамс изучали русско-эстонско-литовские литературные связи. С 1928 г. в Тарту ежегодно стали выходить “Труды по русской и славянской филологии”. С седьмого выпуска они разделились на две подсерии: лингвистическую и литературоведческую. К 1991 г. увидело свет 26 томов этого издания, в которых были напечатаны статьи 108 авторов. Помимо этой серии кафедра русской литературы выпускала с 1964 г. “Труды по знаковым системам” (23 тома) и с этого же года “Блоковские сборники” (девять томов), посвященные русской литературе конца XIX – начала XX в. Небольшой коллектив кафедры (к началу 1990-х годов там было всего 12 преподавателей) мог вести такую огромную издательскую деятельность только благодаря привлечению широкого круга славистов из всего Советского Союза – из Москвы, Ленинграда, Риги и других славистических центров. Так частыми авторами тартуских изданий были такие выдающиеся слависты как Н.И. Толстой, С.М. Толстая, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Л.А. Софронова и многие другие [11. С. 5–8].

После обретения Эстонией независимости произошла реорганизация славистических кафедр Тартуского университета (1992). Помимо кафедр русского языка и русской литературы была основана кафедра славянской филологии. Все вместе они образуют Отделение русской и славянской филологии. Во главе кафедры русской литературы с 1992 г. стоит одна из учениц Ю.А. Лотмана проф. Л.Н. Киселева. На кафедре работают пять преподавателей. Кафедру русского языка возглавляет проф. И.П. Кюльмоя. Она занимается функциональной грамматикой, аспектологией, сравнительной грамматикой русского и эстонского языков.

Заведующим кафедрой славянской филологии (пять человек) является проф. А.Д. Дуличенко. Круг его интересов достаточно широк: общая теория языка, история и структура славянских языков, славянские литературные микроязыки (югославо-русинский, градищанско-хорватский, резьянский, кашубский), история славистики и др. На этой же кафедре продолжает работать один из старейших профессоров Тартуского университета С.Г. Исаков, изучающий культурные связи эстонцев и русских, эстонцев и украинцев, эстонцев и поляков, эстонцев и болгар, а также творчество русских писателей в межвоенной Эстонии.

Именно усилиями Отделения русской и славянской филологии и прежде всего А.Д. Дуличенко в Тарту в октябре 2002 г. была проведена международная конференция “200 лет русско-славянской филологии в Тарту”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования (1802–1902). Юрьев. 1902. Т. 1.
2. *Петухов Е.В.* Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете. Юрьев. 1900.
3. *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования. Юрьев, 1906. Т. 11.
4. *Esti Ajalooarhiiv.* F. 402. s.ü. 1577.
5. *Esti Ajalooarhiiv.* F. 402. s.ü. 157.
6. *Будилович А.С.* Об успехах русского языка в Юрьевском университете в истекающем столетии // Сборник Учено-литературного общества при Императорском Юрьевском университете. Юрьев, 1899.
7. *Кузьмин М.Н.* Словацкий комениолог Ян Родомил Квачала профессор Юрьевского университета // Советское славяноведение. 1990. № 4.
8. *Исаков С.Г.* Учено-литературное общество при Тартуском университете (1897–1917) // Филологические науки в Тартуском университете. Тарту, 1982.
9. Сборник Учено-литературного общества при Императорском Юрьевском университете. Юрьев, 1898. № 1.
10. *Вахрушев В.* Юрий Лотман – человек судьбы // Вопросы литературы. 2000. № 6.
11. *Исаков С.Г.* Об изданиях кафедры русской литературы // Труды по русской литературе и семиотике Тартуского университета. Тарту, 1991.



© 2003 г. А. С. СТЫКАЛИН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСТОРИИ ВЕНГРИИ И РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В марте 2002 г. в Москве по инициативе Культурного, научного и информационного центра Венгерской республики и двусторонней комиссии историков России и Венгрии состоялась конференция, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля XIX в., лидера венгерской революции и национально-освободительной борьбы 1848–1849 гг. Лайоша Кошута (1802–1894). К этой же дате была приурочена историко-документальная выставка “Венгерская революция 1848–1849 годов. Взгляд из России”, на которой, наряду с документами из фондов Государственного архива Венгрии, были представлены материалы из российских архивов – РГАСПИ, РГВИА, ГА РФ, АВПРИ МИД РФ.

О роли сербского и хорватского национальных движений в революции 1848 г., их взаимоотношениях как с венским двором, так и с венгерской политической элитой говорила в ходе конференции д.и.н. *И.В. Чуркина* (ИСЛ РАН). По ее мнению, борьба венгров против Габсбургов, особенно с осени 1848 г., носила национальный, а не социальный характер. Отстаивая перед Венной свои национальные права, венгры вели справедливую войну. Но не желая признавать столь же законные права сербов, хорватов и других народов, населявших земли короны св. Стефана, подавляя вооруженным путем движения национальных меньшинств, они выступали как контрреволюционная сила. Это понимали и некоторые европейские революционеры. Так, К. Кавур говорил 20 октября 1848 г. перед туринским парламентом: “Венгры, благородные и великодушные, когда защищают свой народ от самовластья императора, становятся жестокими и тираническими угнетателями славянского племени, которое живет на венгерской территории” [1. С. 364]. Показательно также, что до сентября 1848 г. венгры подавляли национальные движения южных славян в союзе с Габсбургами и лишь осенью, в условиях окончательного разрыва между Венной и Пештом, как следствие венгерской политики начал складываться союз между императорским двором и национальными движениями австрийских югославян. Шовинистическая политика мадьяр в отношении других народов явилась главной причиной их поражения в 1849 г. Более того, именно венгры разрушили единый фронт народов Австрийской империи против Габсбургов и дали возможность последним укрепить свое положение. Национальная ограниченность венгерских, а также и австро-немецких революционеров привела к тому, что острейший для империи национальный вопрос так и остался нерешенным.

Стыкалин Александр Сергеевич – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

С другой стороны, И.В. Чуркина не могла не признать, что многие сербские и хорватские деятели, включая бана Хорватии Й. Елачича, были убежденными легитимистами, их политические мечтания не выходили за рамки Австрийской монархии, поэтому поддержка Габсбургов вполне соответствовала их настроениям.

Выступление И.В. Чуркиной вызвало возражения со стороны д.и.н. *Т.М. Исламова* (Исл РАН). По его мнению, в монархии Габсбургов революция 1848 г. началась с выдвижения социальных и политических требований, национальный фактор играл подчиненную роль, перерастание, вернее, перерождение социальных революций в национальные произошло только к осени 1848 г. Произошедший в это время в Средней Европе необычайно мощный “всплеск страстей” на национальной почве впервые в мировой истории воочию продемонстрировал в масштабе всего региона взрывную силу национализма в многообразии его форм и проявлений.

Национальный момент, конечно, с самого начала присутствовал и в венгерском революционном движении, но в противоположность движениям других национальностей империи (кроме австронемецкого) он не был доминирующим даже в условиях резкого обострения межнационального противостояния. Вообще исторический смысл венгерской революции 1848 г. не может быть понят, а ее реальное содержание объективно оценено только с точки зрения национальных интересов мадьяр, а также населявших земли короны св. Стефана других народов, вне контекста общеевропейского политического процесса.

Все европейские революции 1848 г., включая и французскую, выполнявшую функцию своего рода образца и эталона для революционных выступлений в других странах, выдвигали политические лозунги и социальные требования, направленные исключительно на реализацию задач и потребностей собственной нации. В силу специфики ситуации в монархии Габсбургов в некотором смысле исключение составляла венгерская революция. Программа Л. Кошута, относящаяся к весне 1848 г., ставила своей целью введение конституционного строя в масштабе всей обширной средневропейской империи. Не утрачивая своего национального характера, венгерская революция, вместе с тем, потенциально имела все шансы перерасти национальные рамки. Не удивительно, что венгерская инициатива была по достоинству оценена в либеральных, демократических кругах Австрии. В течение целой недели, с 6 по 13 марта, в Вене принимались петиции на имя императора в духе резолюции венгерского Государственного собрания. Речь Кошута от 3 марта вошла в историю Австрии как “крещенская речь австрийской революции”. По свидетельству Т.М. Исламова, современная австрийская историография единодушна в оценке этой речи Кошута как документа огромной силы убеждения.

Буржуазные по содержанию политические, социальные и экономические реформы, осуществленные в Венгрии в марте-апреле 1848 г., не имели никакой специфической национально-мадьярской окраски. Полезные и необходимые с точки зрения национального развития в равной мере всех народов королевства, они не предусматривали никаких дискриминационных мер в отношении меньшинств. От аграрных преобразований, проведенных революционным венгерским правительством, выигрывали все национальности, но особенно славяне и румыны – крестьянские по своей социальной структуре народы многонациональной Венгрии.

В силу этого понятно, что венгерскую революцию поначалу с энтузиазмом встретили все народы королевства Венгрия – славяне, румыны, немцы, евреи. Даже пользовавшиеся особыми привилегиями в империи воинственные сербы-границары, опора династии, первоначально выступали солидарно с восставшими венграми. Но это было лишь начало широко развернувшегося демократического процесса, народы же ждали продолжения. Национальные элиты с особым нетерпением ожидали от сформированного венгерского правительства как минимум закрепления за этническими общностями специфических коллективных прав, создания гарантий национально-культурного развития в рамках Венгерского государства. Между тем правительство было уверено, что общегражданских прав, политических свобод и осво-

бождения крестьян без выкупа было достаточно, чтобы удовлетворить чаяния национальностей и сделать их союзниками революционной Венгрии. Политические элиты славянских народов, а также румын смотрели на дело иначе. Это выяснилось через несколько месяцев после начала революции, в ходе формулирования национальных программ.

Справедливости ради надо заметить, что единственное исключение в своей национальной политике правительство Венгрии делало в отношении хорватов, на протяжении веков сохранявших особый статус в рамках владений короны св. Стефана. Уже 22 марта, выступая в Госсобрании, Кошут предложил предоставить хорватам право пользоваться родным языком в своих внутренних делах, а венгерский обязали использовать лишь в переписке с центром. Подобная уступчивость была бы, вероятно, достаточной для других народов королевства, но явно не для народа Хорватии-Славонии, сознававшего исключительность своего положения в составе земель венгерского королевства. С течением времени как хорваты, так и сербы все более решительно выдвигали требования полной национальной автономии. Однако венгры видели в этом нарушение целостности своего государства. В условиях существования независимой Сербии предоставление автономии граничащей с ней Воеводине действительно могло быть воспринято как шаг к отделению, и Кошут не хотел идти на компромисс.

По мнению Т.М. Исламова, всегда необходимо помнить и о том, что накануне событий 1848 г. народы Средней Европы находились на разных стадиях формирования современных наций. И ни один из них к этому времени еще не обладал в полном объеме всеми атрибутами нации классического типа. Все это лишь затрудняло поиск консенсуса. Но несмотря на всю остроту межэтнических конфликтов, ареной которых стала Венгрия, венгерская революция все же не превратилась в “войну всех против всех”, как охарактеризовал ее британский историк Л. Намье [2]. Не следует, в частности, предавать забвению реальные факты сочувственного к ней отношения со стороны представителей других народов империи. Без осмысления подобных фактов невозможно поставить в конкретной плоскости вопрос об альтернативных вариантах развития революционного процесса в Венгрии. А такая постановка вопроса правомерна – особенно ввиду заманчивости перспективы, открывавшейся перед венгерской революцией, успех которой был сопряжен с уничтожением абсолютизма и исчезновением самой империи, а потому неминуемо должен был привести к радикальнейшему геополитическому сдвигу в среднеевропейском регионе и, более того, к кардинальной перестройке международных отношений и системы союзов во всей Европе.

Реализуемость подобной перспективы в конкретно-исторических условиях 1848–1849 гг. поставил под сомнение д.и.н. *В.Н. Виноградов* (ИСл РАН). Попытавшись осмыслить причины братоубийственной войны в Трансильвании, он пришел к пессимистическому выводу о неразрешимости межэтнических противоречий в землях венгерской короны в этот период ввиду полной несовместимости программ различных национальных движений в их основополагающих пунктах. Воплощение в жизнь любых национальных идей в Трансильванском княжестве было неразрывно связано с вопросами о единстве Венгерского государства и о власти в нем. Румыны в первую очередь требовали признания себя четвертой исторической нацией в княжестве (наряду с мадьярами, секлерами и немцами (саксами)), предоставления им равноправия с другими народами, в том числе и равноправия религиозного. Это демократическое требование было совершенно правомерным, однако в условиях, когда румынское население составляло в Трансильвании абсолютное большинство (немногим менее 60%), его последовательное выполнение привело бы в перспективе к утрате венгерским дворянством политической гегемонии в крае. Тем более что программа румынского национального движения не ограничивалась борьбой за расширение сферы применения языка и достижение национально-культурной автономии, она предполагала активное приобщение румын к власти в суверенной Трансильвании. Земли ко-

роны св. Стефана в результате должны были распаться как политическое целое, в лучшем случае превратиться в конфедерацию. Это противоречило не только всей многовековой традиции политической идеологии венгерского дворянства (идея “венгерской политической нации”, включающей в себя и представителей национальных меньшинств), но и позиции Кошута и его окружения в 1848 г.: любая страна, освобождаясь от пут зависимости, крайне ревниво относится к своей целостности и суверенитету, предпочитает централизованные формы правления и совсем не терпит ни малейшего посягательства на ущемление своих исторических прав (не всегда признаваемых другими народами). Показателен в этом смысле последний, 12-й пункт пештской программы марта 1848 г., предусматривавший административное объединение Трансильванского княжества с Венгерским королевством. Даже в культурно-языковой области венгерская сторона не проявляла склонности идти на сколько-нибудь существенные подвижки: права румынского языка в общетрансильванском масштабе не закреплялись законодательным путем. Нельзя забывать и о социальных противоречиях между мадьярским среднепоместным дворянством и требовавшим земли румынским крестьянством – они также находили отражение при формулировании программ двух движений. Национальная рознь, таким образом, тесно переплеталась с социальными антагонизмами.

Пропась между максимумом уступок, на которые оказались способны пойти венгры, так и не признавшие румын равной себе “конституционной нацией”, и минимумом, который румыны считали для себя приемлемым, в результате оказалась непреодолимой. Шансы на достижение консенсуса при данном состоянии социума, при достигнутой интеллектуальными элитами отдельных наций стадии развития менталитета равнялись нулю, конфронтация стала закономерной и неизбежной. Впрочем, некоторые румынские политики на завершающем этапе революции предпринимали попытки наладить сотрудничество с революционными силами Венгрии, а позже сожалели об упущенных шансах. “Объединившись с венграми, мы наверняка взяли бы Вену и провозгласили бы республику, а теперь мы дрожим в ожидании крох с венгерского стола”, – предавался печали Н. Бэлческу [1. С. 440]. В конкретно-исторической ситуации 1848–1849 гг. национальные устремления трансильванских румын оказались в определенной мере созвучны интересам венского двора, и в этом заключалась настоящая драма румынского освободительного движения. Габсбургской реакции оставалось по сути дела лишь воспользоваться благоприятной для нее расстановкой сил, что она и сделала. “Я сам, краснея от стыда, наблюдал, как румыны сражались за свободу под знаменем самого подлого, страшного и обветшалого абсолютизма... Неверно, однако, что румыны не вдохновлялись и не одушевлялись в этой жестокой войне национальными чувствами и любовью к свободе”, – писал Бэлческу [1. С. 440].

Многие принципиальные положения выступлений И.В. Чуркиной, Т.М. Исламова и В.Н. Виноградова нашли отражение в подготовленных ими главах монографии Института славяноведения РАН «Европейские революции 1848 года. “Принцип национальности” в политике и идеологии» (М., 2001). В ходе конференции ответственный редактор этой книги д.и.н. С.М. Фалькович (ИСЛ РАН) познакомил аудиторию с выводами, к которым пришел в результате исследований авторский коллектив.

Венгерская национальная политическая элита также оказалась способна извлечь хотя бы и запоздалые уроки из событий 1848–1849 гг. Об этом говорила к.и.н. Ч.Б. Желицки (ИСЛ РАН), сосредоточившаяся на эволюции национальной программы Л. Кошута. В начале революции он, как уже отмечалось, полагал, что общедемократические завоевания автоматически решат национальную проблему. И только на заключительном этапе освободительной борьбы лидер венгерской революции начал осознавать необходимость уступок, важность примирения с румынами и славянскими народами. Впервые в своей истории венгерское национальное движение законодательно признало право румын как нации пользоваться родным языком в школе и администрации местностей с преобладанием румынского населения. Боль-

шое внимание уделялось созданию румынского легиона в составе венгерской революционной армии (в этом, правда, можно увидеть не столько уступку чаяниям румын, сколько попытку вызвать раскол в их национальном движении). Как бы там ни было, декларированные новым законом права не могли в полной мере удовлетворить румынскую сторону, не оставалось и времени для их реализации. Так что позитивного действия новый закон не возымел. Только в эмиграции Кошут осознал просчеты в своей национальной политике и пришел к выводу, что игнорирование национальных интересов соседних народов лишает венгерское национально-освободительное движение потенциальных союзников. В составленных им проекте Конституции и плане Дунайской конфедерации он попытался примирить историческое право и принцип национальности, территориальную целостность государства и интересы национальных меньшинств. Разрешить национальный вопрос в региональном масштабе предполагалось через создание конфедерации свободных народов, а в масштабе исторической Венгрии – путем предоставления национальностям культурно-языковых прав, гарантии внутренней автономии в образовательной и религиозной сферах, через систему комитатского и муниципального самоуправления.

Что касается определенных подвижек Кошута в отношении к национальному вопросу в сложных условиях лета 1849 г., то уступчивости мадьяр не могла не способствовать царская интервенция, о которой много говорилось в ходе конференции. Как известно, начало “венгерскому походу” было положено манифестом Николая I от 27 апреля 1849 г. На анализе этого документа сосредоточил внимание *Т.М. Исламов*. Несмотря на краткость манифеста – менее страницы, в нем были четко сформулированы мотивы, побудившие официальный Петербург к силовому вмешательству в дела соседней державы. В документе не только подтверждалась готовность “защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов наших”, но и выражалась решимость перед лицом “бедствий, постигших западную Европу”, “встретить врагов наших, где бы они ни предстали” [3. Ф. 672. Оп. 1. Л. 198]. Тем самым Российская империя предусматривала за собой право подавлять революционные выступления и далеко за пределами собственных государственных границ.

Главную угрозу целостности державы в Петербурге видели – что вполне естественно – в польском национальном движении. С февральской революцией 1848 г. в Париже усилился аристократической эмиграции во главе с А. Чарторыйским польский вопрос едва ли не впервые после подавления восстания 1830–1831 гг. был поставлен в повестку дня большой европейской политики. Конечно, это не могло не вызвать озабоченности при дворе Николая I, тем более что в столицу шли донесения дипломатических представителей и военных агентов о сосредоточении польских вооруженных отрядов в Галиции, в непосредственной близости границ с Россией, об активизации польских революционеров в других землях Габсбургов, их участия в военных действиях в Венгрии. Как отмечалось в том же императорском манифесте, занятое войной в Италии австрийское правительство “не могло доселе восторгаться над мятежом; напротив, укрепясь скопищем наших польских изменников 1831 года и других разноплеменных пришельцев, изгнанников, беглых и бродяг, бунт развился там в самых грозных размерах”. Все это и побудило царя двинуть русские армии “на потухшие мятежа и уничтожение дерзких злоумышленников, покушавшихся потрясти спокойствие и наших областей”.

В Петербурге могли узнать об авантюрных планах вторжения в австрийскую Польшу из Венгрии, которые вынашивались некоторыми польскими военачальниками (в частности генералом Г. Дембинским). Надо, однако, заметить, что Кошут и его правительство отвергли такие планы, поскольку опасались, что вторжение в Галицию спровоцирует войну против революционной Венгрии со стороны не только России, но и Пруссии – третьего участника разделов Речи Посполитой. Кроме того, венгерские лидеры вовсе не были уверены, что галицийские крестьяне на этот раз поддержат очередное выступление ненавистной им польской шляхты. Они опасались, что вторжение в Галицию вызовет новую вспышку национальной вражды в

этом этнически неоднородном крае. Против плана Дембиньского категорически возражал и его соотечественник генерал Ю. Бем.

Таким образом, определяющим фактором политики России в отношении Австрии и венгерской революции оставался польский вопрос. Речь шла не просто о бескорыстной помощи (во имя монархической солидарности) юному кайзеру Францу Иосифу I по спасению его пошатнувшегося трона, но прежде всего об удержании российской Польши в составе империи Романовых. Наряду с положением дел в польских землях, Петербург беспокоила ситуация в Дунайских княжествах (об этом говорил В.Н. Виноградов); существовали подозрения – без должных на то оснований, – что Кошут и его эмиссары “сеют смуту” в Валахии и Молдове с целью последующего их присоединения к Венгрии, что в корне противоречило геополитическим интересам России (это необходимо иметь в виду, говоря о мотивах перехода русских войск через р. Прут – после долгих колебаний Николая I).

Поживиться территориальными приращениями за счет попавшей в беду соседней империи, с которой Россия соперничала и сотрудничала на протяжении столетий, в планы Николая I не входило. Как не собирался державный Санкт-Петербург воспользоваться моментом, чтобы надолго заявить свое военное присутствие в какой-нибудь части монархии Габсбургов либо получить какие-либо другие существенные политические дивиденды. Весьма примечательно, что уже в день капитуляции венгерской армии И.Ф. Паскевич доносил царю о начале вывода русских войск из Венгрии. И дело было не в бескорыстии царской политики. Судя по приведенной Т.М. Исламовым переписке императора со своим фельдмаршалом, послешный уход русской армии из Венгрии объяснялся причинами идеологического порядка. Правящие круги Российской империи, напуганные размахом революционных движений по всей Европе, опасались за морально-политическое состояние своих войск. Лучше знавшему конкретную ситуацию Паскевичу пришлось даже убеждать царя в том, что “кратковременное пребывание в Венгрии не приведет вредного влияния” на войска, поскольку “среди думающих офицеров” не наблюдалось “направление к вольнодумству”. “Подобная зараза могла бы скорее между ними вырастаться во время пребывания их в Польше”, – уверял Николая I его любимый военачальник в ноябре 1849 г. (см.: [4. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18427. Л. 44–44 об]).

К этому следует добавить, подчеркнул Т.М. Исламов, что решение об интервенции (сразу лишившей сопротивление венгров всяких шансов на успех) отнюдь нельзя считать скоропалательным, оно далось обоим партнерам нелегко, пришло в момент, когда любое промедление могло оказаться роковым. В самом деле, удобный случай для вмешательства в австрийские дела впервые предоставился Николаю I еще летом 1848 г., когда за помощью в борьбе с венграми к России обратился хорватский бан Елачич. Просьба была отклонена в самой категорической форме, поскольку исходила от человека, в то время еще считавшегося в Петербурге таким же мятежным генералом, как “беглый” поляк Бем. Хотя вся просвещенная Европа опасалась панславистской угрозы, соображения славянской солидарности не сыграли никакой роли при мотивировке действий. Подвигнуть Николая I на решительное выступление могли лишь самые веские причины – осознание неминуемой катастрофы соседней консервативной державы (одного из столпов Священного Союза) в случае невмешательства, а также реальная опасность распространения “революционной заразы” на земли собственной империи. Решение было принято в момент, когда успешное весеннее наступление венгерских революционных армий поставило под угрозу само существование императорской Австрии, а значит и всего консервативного европейского миропорядка. В одном из писем Паскевичу Николай признал, что никогда бы не вмешался, если бы не видел “в Беме и прочих мошенниках в Венгрии не одних врагов Австрии, но врагов всемирного порядка... которых истребить надо для нашего же спокойствия” [5. С. 357]. Министерство иностранных дел дало свое разъяснение мотивов венгерской кампании: “Россия не только пользуется неоспоримым правом, которое дает ей необходимость самосохранения, но и действует,

по ее мнению, сообразно с выгодами всех держав, истинно любящих мир, и спешествуёт сохранению общественного спокойствия и равновесия в Европе” [5. С. 357].

В.Н. Виноградов попытался опровергнуть расхожее среди части историков мнение о том, что Николай I был расположен подавлять революции вооруженной рукой чуть ли не по всей Европе. На самом деле Россия плохо соответствовала образу неукротимой твердыни агрессивного абсолютизма, который ей сопутствовал за рубежом. А в 1848 г. ей хватало собственных внутренних проблем – засуха, неурожай, пожары, эпидемия холеры. Поэтому в Петербурге поначалу приняли сугубо оборонительную тактику, был разработан, в частности, план военной защиты от натиска революции извне. На пересмотр этой тактики в условиях, когда Вена столкнулась с нештучной опасностью, повлияло осознание роли Австрии как “европейской необходимости”. В Петербурге боялись усиления Пруссии и продолжали рассматривать Австрию во главе Германского Союза как противовес великодержавным устремлениям Берлина. При этом Вене, исходя из опыта прежних войн, продолжали не доверять, что видно и из переписки Паскевича с Николаем I. О долгосрочных союзнических отношениях с ней в деле восстановления порядка в Европе речи не было. В Петербурге были готовы пойти лишь на минимум необходимого ради спасения Габсбургов.

Г. Эрдеди (Будапешт) остановился на внешнеполитической концепции венгерского революционного правительства. Вожди венгерской революции осознавали, что успех их дела во многом зависит от благоприятного соотношения сил на международной арене. Однако попытки заручиться поддержкой Англии и Франции не оправдались – великие западноевропейские державы (в том числе и республиканский режим во Франции) по-прежнему считали, что империя Габсбургов необходима для сохранения баланса сил в Европе. Не оправдались и расчеты на германскую революцию, способную изменить политическую конфигурацию в Европе. Вместе с тем было бы неправильным применительно к венгерским революционным деятелям говорить о своего рода “романтической” внешней политике, исходившей больше из идеальных схем, нежели из суровых жизненных реалий. В целях спасения хотя бы некоторых завоеваний революции Кошут и его окружение проявляли готовность к далеко идущему компромиссу. Т.М. Исламов напомнил в этой связи об идее Госсобрания пригласить на венгерский престол великого князя Константина Николаевича Романова.

Т. Чикань (Будапешт) говорил о взаимоотношениях правительства Кошута с генералами революционных армий. Военачальники венгерской революции обладали большой самостоятельностью, что в отдельных случаях вело к несогласованности действий между крупными воинскими формированиями. Что же касается принятого генералом А. Гёргеєм решения о капитуляции перед войском Паскевича, то в венгерской военной историографии окончательно утвердилось мнение не только о вынужденности, но о мудрости этого шага, вызвавшего в то время в венгерском обществе крайне неоднозначную реакцию.

И. Рошонци (Будапешт) сосредоточилась на обзоре не самых известных российских источников по истории венгерской революции и военной кампании 1849 г., привела факты, свидетельствующие о противоречиях между австрийскими и российскими военными служащими, антипатии русских офицеров к австрийцам. Начальник Государственного архива Венгрии *Л. Гечени* познакомил аудиторию с ранее неизвестными документами о Кошуте, введенными в последнее время в научный оборот. В докладе *Д. Арато* (Будапешт) речь шла о деятельности венгерской революционной эмиграции на Балканах после поражения национально-освободительной борьбы.

Об осмыслении в 1850–1860-е годы венгерскими, и не только, политиками опыта революции 1848–1849 гг. речь шла в выступлениях В.Н. Виноградова, Т.М. Исламова, Ч.Б. Желицки и др. Выдвинутая Кошутом в эмиграции идея Дунайской конфедерации не нашла поддержки в самой Венгрии. Наиболее здравомыслящая часть венгерской политической элиты уже склонялась к примирению с династией и не могла

принять план, направленный на развал монархии Габсбургов; некоторые деятели жили традицией 1848 г. Лидеры наиболее развитых движений национальных меньшинств видели в плане Кошута новое препятствие на пути к полноценной реализации собственных национальных идей и межнациональных проектов (в частности югославянского). Реальная международная ситуация 1850–1860-х годов также не оставляла шансов для претворения в жизнь этого довольно утопического проекта. Соглашение 1867 г. стало оптимальным вариантом решения венгерского вопроса. Вместе с тем национальности, в 1848–1849 гг. помогшие династии выжить, теперь послужили разменной монетой при заключении сделки, их национальные требования не были удовлетворены.

Для того чтобы в странах Средней Европы часть политических элит обратилась к серьезному обсуждению идеи экономического и политического единения дунайских государств, подчас апеллируя при этом к традиции Кошута, понадобился исторический опыт двух мировых войн XX в. Празднования весной 1948 г. в Венгрии 100-летия начала революции не просто приобрели большой размах, но стали вполне получившейся попыткой продемонстрировать такое единение. Об этом говорил к.и.н. А.С. *Стыкалин* (Исл РАН). Вследствие состоявшихся в Будапеште встреч правительственных делегаций произошли позитивные сдвиги в развитии венгеро-румынских и венгеро-чехословацких отношений, отягощенных различием подходов к урегулированию национально-территориальных проблем в регионе [6].

Культ революции 1848–1849 гг. широко распространился в Венгрии в период коалиционного правления (1945–1948), что не в последнюю очередь было связано с усилением за годы Второй мировой войны антинемецких настроений в венгерском обществе. Герб независимой Венгрии, утвержденный революционным правительством Л. Кошута в 1849 г., в 1946 г. стал государственным гербом провозглашенной Венгерской республики. Партии разных ориентаций в своих программных заявлениях обращались к традиции 1848 г., происходившие в Венгрии социальные преобразования подавались как продолжение и развитие демократической программы венгерской революции. В ходе юбилейных торжеств 1948 г., происходивших с участием советской делегации во главе с маршалом К.Е. Ворошиловым, удалось избежать малейшего следа антирусской направленности проводимых мероприятий, что с удовлетворением отмечали советские дипломаты [7. Оп. 25. Папка 23. Д. 23. Л.30]. Между тем в Москве с понятной настороженностью относились к культивированию в венгерском национальном сознании революционных традиций 1848 г., неизбежно вызывавших в памяти царскую интервенцию. Примечательна реакция соответствующих инстанций на поступившую в 1948 г. с венгерской стороны просьбу о предоставлении аспиранту М. Сабо возможности сделать фотокопии доступных в архивах материалов, относящихся к 1848–1849 гг. Признав отсутствие формальных оснований для отказа, начальник Историко-дипломатического управления МИД СССР, известный историк В.М. Хвостов счел в то же время необходимым дать следующий ответ на запрос: “Не может не вызвать недоумения политическая близорукость соответствующих работников Ленинградского педагогического института, считающих целесообразным занимать аспиранта-венгра историей русской интервенции, направленной на удушение венгерской революции 1848 г. Вряд ли это целесообразно с политической точки зрения” [7. Оп. 28. Папка 131. Д. 56. Л. 23, 110]. Как в СССР, так и в Венгрии стало уделяться большое внимание изучению откликов демократической российской общественности на события 1848–1849 гг. При этом иной раз не останавливались перед прямым мифотворчеством (получившая хождение в прессе и даже научной литературе легенда о капитане Гусеве, перешедшем на сторону венгерской революционной армии).

С установлением в Венгрии к концу 1940-х годов однопартийного коммунистического режима официальное отношение к революции 1848 г. существенно (хотя и негласно) изменилось, что нашло выражение в отмене с 1951 г. национального праздника 15 марта – из опасений, что венгерская патриотическая традиция может как-то

“задеть” СССР, власти без особого шума сделали день начала революции рабочим днем. Герб Кошута с образованием в августе 1949 г. Венгерской Народной Республики был заменен другим гербом. Доминирующей становится линия на сознательное замалчивание или прямую фальсификацию революции 1848 г., находившаяся в парадоксальном противоречии с общей официальной идеологической установкой на культивирование традиций антизападной национально-освободительной борьбы венгерского народа. Все дело в том, что кампания 1849 г., бросая тень на северо-восточного соседа, совсем не вписывалась в мифологизированную картину безоблачных российско-венгерских отношений в прошлые века – важную составную часть насаждавшегося всеми средствами пропаганды ложного образа советской системы.

Историческая память о революции 1848 г. продолжала, однако, ощущению присутствовать в национальном сознании, что проявилось в многообразной символике событий 1956 г. Так, перезахоронение главной жертвы режима Ракоши Л. Райка состоялось 6 октября, в день, когда в трансильванском городе Араде австрийские власти казнили 13 генералов венгерской революционной армии. Лозунги студенческой демонстрации 23 октября под броским заголовком “16 пунктов” вызывали в памяти венгров ассоциации с “12 пунктами”, с которыми молодежь Пешта выступила в марте 1848 г. против власти Габсбургов. В число программных требований инициаторов этой массовой манифестации входило восстановление герба Кошута и национального праздника 15 марта. Сознательное следование традиции 1848 г. проявилось и в выборе маршрута шествия – митинги состоялись у памятника генералу Ю. Бему и на площади Петефи, где 15 марта 1848 г. великий поэт-революционер призывал венгерскую молодежь к борьбе с австрийским абсолютизмом.

Наученные горьким опытом венгерских событий, идеологические органы КПСС стали проявлять больше внимания к национальным традициям стран советской сферы влияния. Характерно, что 15 марта 1957 г. в “Правде” и “Известиях” были опубликованы статьи к 109-летней (неюбилейной!) годовщине начала революции 1848 г. в Венгрии, в которых была отмечена огромная позитивная роль этого выдающегося события европейской истории.

О революции 1848 г. и ее последствиях много говорилось и в ходе Международной конференции “Россия и Центральная Европа в новое и новейшее время в зеркале российской и венгерской историографии 1980–1990-х годов”, прошедшей в октябре 2002 г. в Москве в рамках очередного регулярного заседания двусторонней комиссии историков России и Венгрии. Об основных тенденциях новейшей историографии революции и национально-освободительной борьбы венгерского народа в 1848–1849 гг. рассказала к.и.н. *Ч.Б. Желицки* (ИСл РАН). К.и.н. *О.В. Павленко* (РГГУ) сосредоточилась на проблемах складывания национального самосознания у славянских народов монархии Габсбургов во второй половине XIX в. и их изучении в работах 1990-х годов. *Т.М. Исламов* (ИСл РАН) остановился на ключевых проблемах истории Австро-Венгерской монархии в отражении современной австрийской, венгерской, а также англоязычной историографий.

Целый блок докладов был посвящен историографии средневековой истории, а также XVII–XVIII вв. К.и.н. *М.К. Юрасов* (ИРИ РАН) и проф. *М. Фонт* (Печ) подвели предварительные итоги исследований венгерско-восточнославянских отношений в X–XI вв. Среди прочего М.К. Юрасов опроверг распространявшийся с легкой руки ряда российских ученых миф о том, что дочь Ярослава Мудрого Анастасия якобы управляла Венгрией вместо больного мужа Эндре. К.и.н. *Т.П. Гусарова* (МГУ) отметила общее в изучении российскими и венгерскими учеными важнейших проблем истории стран Центральной и Восточной Европы в XVII в. Важное место в ее сообщении было уделено выявлению сходств и различий в функционировании сословно-представительных монархий, во взаимоотношениях власти и сословий в Московской Руси и в монархии Габсбургов. Проф. *Д. Свак* (Будапешт) предпринял попытку рассмотреть глазами венгерского историка дискуссии о личности и исторической роли Петра I, происходившие в отечественной историографии. При этом он согласился с

выводами об очень высокой цене Петровских реформ для дальнейшего социального развития России и о том, что возможности для модернизации страны не были реализованы в полной мере. *А.Г. Гуськов* (ИРИ РАН) представил новое в изучении отечественной историографией 1990-х годов “великого посольства” Петра I. *К.и.н. О.В. Хаванова* (Исл РАН) говорила о новейших тенденциях в исследованиях просвещенного абсолютизма Марии Терезии и Иосифа II.

Разнообразием тем отличался блок докладов, посвященных историографии новейшей истории. Проф. *Т. Краус* (Будапешт) полемизировал с некоторыми новыми трактовками концепции капитализма молодого В.И. Ленина. *Д.и.н. Г.Д. Алексеева* (ИРИ РАН) рассмотрела ряд важных аспектов изучения истории СССР 1920-х годов в постсоветской российской историографии. *А Шереш* (Будапешт) рассказал об отражении в российской и венгерской историографии двусторонних отношений в период между двумя мировыми войнами. Как было отмечено в ходе последовавшей дискуссии, при всей непримиримости идеологических противоречий между Советским Союзом и хортистской Венгрией существовала основа для сближения двух стран, поскольку ни в Москве, ни в Будапеште не принимали Версальской системы. Идеология, таким образом, отступала на второй план перед реальной политикой. Так произошло, в частности, летом 1940 г., когда СССР и Венгрия выступили по сути дела партнерами при расчленении Румынии. *Д. Бебеши* (Печ) сделал обзор основных работ Института русистики Будапештского университета с начала 1990-х годов.

Д.и.н. Г.П. Мурашко и *д.и.н. А.Ф. Носкова* (Исл РАН) выступили с докладом “Становление режимов советского типа в Восточной Европе: проблемы историографии 90-х годов – от марксистских догм к новым мифам”. Основные положения их выступления нашли отражение во введении к коллективной монографии “Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа” (М., 2002. Отв. редактор *А.Ф. Носкова*). По мнению докладчиков, при всей неоспоримости сталинского диктата в отношении стран “народной демократии” в начале 1950-х годов было бы известным упрощением представлять лидеров этих государств исключительно как пассивных исполнителей воли Москвы и тем самым снимать с национальных элит значительную долю ответственности за происходившее. Показательна, в частности, иницилирующая роль *М. Ракоши* в организации процесса по делу *Л. Райка* (осень 1949 г.).

Директор Института политической истории в Будапеште *Д. Фёлдеш* говорил об отражении личности и эпохи Яноша Кадара в венгерской научной литературе посткоммунистического периода. *К.эконом.н. Л.Н. Шишелина* рассказала об освещении в венгерских работах 1990-х годов проблем постсоциалистической региональной идентификации и европейской интеграции. Материалы конференции предполагается опубликовать в очередном выпуске “Научных изданий московского Венгерского Колледжа”, серии трудов Культурного, научного и информационного центра Венгерской республики в Москве, основанной в 2001 г. по инициативе ученого-литературоведа *Й. Горетить*, возглавлявшего научную работу центра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Европейские революции 1848 года. “Принцип национальности” в политике и идеологии / Отв. ред. *С.М. Фалькович*. М., 2001.
2. *Namier L.* 1848 – The Revolution of Intellectuals. London, 1984.
3. Государственный архив Российской Федерации.
4. Российский государственный военно-исторический архив.
5. История внешней политики России. Первая половина XIX века (От войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). М., 1999.
6. Национальный вопрос и национальные меньшинства в Восточной Европе. 1944–1948 годы (Материалы “круглого стола”) // Славяноведение. 2001. № 5.
7. Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 077.



Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. Zagreb, 2001. V. I, 694 S.; V. II, 688 S.

Сборник материалов Второго хорватского славистического конгресса

С 14 по 18 сентября 1999 г. в столице Славонии Осиеке (Хорватия) проходил Второй хорватский славистический конгресс. На нем было прочитано около 250 докладов ученых из 20 стран. Большая их часть (169) составила основу статей, опубликованных в двухтомном сборнике материалов конгресса. Основная задача, которую ставили перед собой его организаторы, была сформулирована председателем Хорватского комитета славистов и одновременно – председателем Оргкомитета проф. Д. Сесар следующим образом: “Объективно, научно аргументировать место хорватского языка и литературы среди языков и литератур великой славянской семьи” [1. S. 37]. Необходимость и правомерность выделения хорватистики в качестве самостоятельной дисциплины в рамках славистики указывается во многих материалах конгресса. Наиболее полное обоснование такой потребности в контексте общего развития славянской филологии в Европе XIX–XX вв. представлено одним из ведущих австрийских и хорватских славистов Р. Катичичем как в тексте доклада и в выступлениях во время проведения конгресса, так и в других работах. “Язык, на котором говорят хорваты, – славянский. Традиционная народная культура определяет место хорватов среди славянских народов. Хорваты как европейский народ отличаются некоторые типические особенности, характерные и для других славянских народов, особенно принадлежащих кругу латинской культуры. А поскольку хорваты являются народом и вследствие этого – субъектом истории культуры и литературы, между славистическими дисциплинами должна существовать и хорватистика” (V. I. S. 569). Однако само название “хорватистика” воспринимается многими как искусственное новообразование и не отделяется от “сербохорватистики”, и потому существование этой дисциплины зависит от того, считает Р. Катичич, насколько существенны “различия между хорватским и сербским языковыми стандартами и от политической конъюнктуры”. Между тем именно хорватская средневековая, возрожденческая и барочная литература явилась исторической основой литературного языкового фонда, зафиксированного в первых “сербохорватских” словарях. Отмечая “подчиненное и даже маргинальное место хорватского языка в современной славистике”, Р. Катичич полагает, что значительной причиной этому послужило “филологическое недоразумение”: в систематизации славянских языков Й. Добровского, положенной в основу большинства последующих схем, названия “сербы” и “сербский” переносились, во-первых, на всех славян, а во-вторых – на южных, к языку которых Добровский также применял термин “иллирский”, и в этом была очевидна реминисценция взаимозамены в возрожденческой и барочной западнославянской литературе “хорватский–иллирийский–славянский”. Тезис о возвращении хорватскому языку его культурной традиции как залога его развития в настоящем (наиболее полно сформулированный М. Зальцман-Челан) выступает в качестве программной установки работ большинства авторов сборника.

С 14 по 18 сентября 1999 г. в столице Славонии Осиеке (Хорватия) проходил Второй хорватский славистический конгресс. На нем было прочитано около 250 докладов ученых из 20 стран. Большая их часть (169) составила основу статей, опубликованных в двухтомном сборнике материалов конгресса. Основная задача, которую ставили перед собой его организаторы, была сформулирована председателем Хорватского комитета славистов и одновременно – председателем Оргкомитета проф. Д. Сесар следующим образом: “Объективно, научно аргументировать место хорватского языка и литературы среди языков и литератур великой славянской семьи” [1. S. 37]. Необходимость и правомерность выделения хорватистики в качестве самостоятельной дисциплины в рамках славистики указывается во многих материалах конгресса. Наиболее полное обоснование такой потребности в контексте общего развития славянской филологии в Европе XIX–XX вв. представлено одним из ведущих австрийских и хорватских славистов Р. Катичичем как в тексте доклада и в выступлениях во время проведения конгресса, так и в других работах. “Язык, на котором говорят хорваты, – славянский. Традиционная народная культура определяет место хорватов среди славянских народов. Хорваты как европейский народ отличаются некоторые типические особенности, характерные и для других славянских народов, особенно принадлежащих кругу латинской культуры. А поскольку хорваты являются народом и вследствие этого – субъектом истории культуры и литературы, между славистическими дисциплинами должна существовать и хорватистика” (V. I. S. 569). Однако само название “хорватистика” воспринимается многими как искусственное новообразование и не отделяется от “сербохорватистики”, и потому существование этой дисциплины зависит от того, считает Р. Катичич, насколько существенны “различия между хорватским и сербским языковыми стандартами и от политической конъюнктуры”. Между тем именно хорватская средневековая, возрожденческая и барочная литература явилась исторической основой литературного языкового фонда, зафиксированного в первых “сербохорватских” словарях. Отмечая “подчиненное и даже маргинальное место хорватского языка в современной славистике”, Р. Катичич полагает, что значительной причиной этому послужило “филологическое недоразумение”: в систематизации славянских языков Й. Добровского, положенной в основу большинства последующих схем, названия “сербы” и “сербский” переносились, во-первых, на всех славян, а во-вторых – на южных, к языку которых Добровский также применял термин “иллирский”, и в этом была очевидна реминисценция взаимозамены в возрожденческой и барочной западнославянской литературе “хорватский–иллирийский–славянский”. Тезис о возвращении хорватскому языку его культурной традиции как залога его развития в настоящем (наиболее полно сформулированный М. Зальцман-Челан) выступает в качестве программной установки работ большинства авторов сборника.

Преимущественное внимание к проблеме складывания хорватского литературного языка в исторической ретроспективе определило как программу самого конгресса, так и соответствующую структуру сборника его материалов, сгруппированных по семи тематическим блокам: “Четыре века хорватского языкознания: Бартол Кашич и его время”, “Хорватскоглаголическая и палеославистическая проблематика”, “Хорватский язык в XX в.”, “Хорватский ренессанс и барокко”, “Хорватская литература в европейском контексте”, “Хорватский постмодернизм”, “Хорватская культура и цивилизация”. Из-за близости рассматриваемых сюжетов тематически близкие материалы зачастую оказываются в разных разделах. Но несмотря на это, а также на неизбежную в подобного рода изданиях мозаичность, а иногда и случайность представленных тем, два тома сборника материалов конгресса верно ориентируют читателя в основных направлениях и методах исследований славистической дисциплины, становлению которой они и призваны способствовать.

Сборник открывается текстами трех пленарных докладов, в которых представлено целостное видение проблем становления хорватской литературы и языка. М. Шицел анализирует развитие хорватского литературоведения за сто лет, с середины XIX до середины XX в. В качестве основной черты трудов о хорватской литературе XV–XVII вв. И. Кукулевича-Сакцинского и его последователей (В. Ягича, Дж. Шурмина и др.) Шицел выделяет преимущественное внимание к биографии авторов и формальному обзору их произведений. Под влиянием европейской филологии эстетические критерии начинают постепенно утверждаться в хорватских историко-литературоведческих трудах, размываются границы между литературной критикой и историей литературы, которая начинает рассматриваться в качестве самостоятельной научной дисциплины (Б. Водник, М. Медини и др.). Начало модернизма в этой области автор связывает с именем М. Комбола, оценивавшего произведения в культурном контексте эпохи, в которой они создавались и осмыслились. Развитие в этом направлении демонстрируют труды А. Бараца, рассматривавшего историю литературы как историю духа; в центре внимания его историко-культурных исследований оказывался человек.

М. Могуш сосредоточивает свое внимание на проблеме стандартизации хорватского литературного языка, происходившей на основе стилизации трех наречий – чакавско-

го, кайкавского и штокавского. В основе доклада – полемика с основными положениями трудов по орфографии и грамматике хорватского филолога рубежа XIX–XX вв. Т. Маретича, установившего штокавскую норму хорватского литературного языка. М. Могуш прослеживает развитие с конца XV в. литературного койне от Марка Марулича и хорватских петраркистов до Ивана Гундулича и от Гундулича через боснийских францисканцев до славонских писателей, соответственно от протестантов через кайкавских авторов до Павла Витезовича.

С. Марьянович представляет подробный обзор хорватских произведений барочной литературы, созданных на территории Славонии. В славонской литературе эпохи реформации, а затем протестантизма автор отмечает сильное влияние венгерской культурной традиции, богомилства, гусизма, православия, а также и ислама. В первые десятилетия XVIII в. развитие славонского барокко совпало с освобождением этих территорий от турецкой зависимости. Основой литературного языка авторов славонского барокко (А. Канижич, М. Катанчич и др.) С. Марьянович полагает “штокавскую икавщину”. Сами же произведения, в основном эпические и религиозные песни, отличались исключительно католической направленностью и были ориентированы на францисканскую провинцию *Bosna Argentina*, обеспечивавшую некоторую связь с турецкими культурными традициями.

В соответствии с основной научной задачей и программой съезда первый тематический раздел посвящен выяснению филологического и культурологического значения трудов Бартула Кашича (1575–1650). Именно результатами деятельности Кашича (грамматика “иллирийского языка” и перевод на него Вульгаты) определяется нижняя граница создания и исследования хорватского литературного лексического и фразеологического фонда. Первые интуитивные попытки гомогенизации хорватского языка предпринимались еще в гуманистическую эпоху. Тема соотносительности языка Кашича с языком его предшественников развивается в статье Л. Коленич. Полагая, что использованные М. Маруличем в “Юдифи” глагольные формы более архаичны, чем зафиксированные в грамматике Кашича, причину этому автор находит в том, что Марулич стилизовал литературный язык под чакавскую “более консервативную” норму, а грамматика основана как на чакавской (родной для Кашича), так и на штокавской нормах.

Библейские переводы занимали в творчестве Кашича центральное место, хотя так и остались в рукописных отрывках. Между тем, подчеркивается многими исследователями, именно они в наибольшей мере отразили важный этап становления хорватской языковой нормы, и их неопубликование рассматривается даже как “наибольшая в череде неудач истории хорватского языка” (Й. Лисац, V. I. S. 117). П. Башич обращается к рукописной традиции переводов из Священного Писания Кашича (с особым вниманием к вариантам некоторых написаний в автографах и у переписчиков), в которых обосновывалась необходимость унифицированного языка для использования его в службах не знающими латинского священниками, и в качестве его основы использовался штокавский диалект боснийского и дубровницкого типа. Сам же язык Кашич именовал “иллирийским” (или “дубровницким”), придавая ему значение, с одной стороны “хорватского”, а с другой – “славянского”. Широкое понимание последнего термина Кашичем, который распространял его не только на Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу, но и на “большую часть Азии” и земли Кавказа – Circassia, рассматривается в статье Д. Кениг; она обнаруживает в этом влияние труда “Митридат” К. Гесснера (1555), который считал, что Circassia заселена славянами, а также желание Кашича расширить список народов, для которых предназначался его перевод, чтобы заручиться для его издания поддержкой Конгрегации пропаганды веры. Д. Габрич-Багарич выявляет в библейском переводе Кашича ряд лексических слоев – кальки из Вульгаты, лексика, изобретенная самим Кашичем, слой рагузизмов, следы боснийских говоров и старославянского. Л. Деспот прослеживает традицию библейских переводов в Хорватии от рукописного перевода Кашича до первого печатного перевода М. Катанчича 1831 г. Значение последнего как первого полного хорватского перевода Библии на основе Вульгаты проанализировано Й. Братуличем.

Специальные исследования сборника посвящены языковым особенностям, фразеологии, тематическим группам лексики текстов Кашича. Видя в грамматике Кашича начало кодификации хорватской языковой нормы, Б.Тафра прослеживает неизменность отдельных ее элементов в грамматиках до конца XIX в. Д. Столац анализирует синтаксические правила грамматики и их применение в более поздних текстах Кашича. В ряде статей рассматри-

ваются словари и грамматики современных Кашичу авторов. С первой польской грамматикой Петра Статория (Стоенского), написанной приблизительно в то же время, грамматику Кашича роднит прежде всего обращение к грамматическим моделям латинского языка, на основе которых строились структурные и функциональные описания хорватского языка (многие из которых, прежде всего в терминологической части, остаются актуальными); обе грамматики представляют структуру современных авторам народных языков (Н. Пинтарич). Лексика грамматики Кашича служит сравнительной базой для исследователей хорватской (“иллирийской”) части пятязычного словаря Ф. Вранчича (1551–1650) (Г. Филипи, М. Гулешич, Й. Лисац). Специально рассматриваются лексикографические методы автора более поздней эпохи П.Р. Витезовича (1652–1713) в его рукописном латинско-хорватском словаре, в частности включение в него слов из трех диалектов, составление неологизмов сложного типа, наличие семантических пояснений и фразеологических оборотов (З. Мештрович).

В произведениях Кашича отразилось и знание им итальянского языка. С. Грачотти сравнивает выполненный Кашичем в 1624 г. перевод итальянского жизнеописания Игнатия Лойолы с итальянским оригиналом 1622 г. (текст Кашича находился в личной коллекции Грачотти и был передан им в дар Национальной университетской библиотеке в Загребе). Язык перевода имеет штокавско-икавскую основу, в нем обнаруживаются дубровницкая диалектная лексика и многочисленные латино-итальянизмы; в целом труд Кашича отличает “тонкое чувство семантических нюансов итальянского и хорватского языков” (V. I. S. 91). Кашичем был составлен и хорватско-итальянский словарь, правая часть которого анализируется Ж. Мулячицем.

Среди материалов по хорватскоглаголической и палеославистической проблематике выделяется обзорная статья А. Назор, подводящая итог издательской деятельности специалистов по хорватскоглаголическим литургическим рукописям за последние 50 лет. История изданий глаголических букварей от первого, вышедшего в Венеции в 1527 г., до букваря Берчича (1860), предназначенного для научного изучения глаголической, прослеживается С. Вяловой.

Одной из центральных тем этой части является рассмотрение языковых и стилистических особенностей различных хорватскоглаголических текстов. На примере переводов

из Вульгаты книги Макковеев по соответствующим текстам из хорватскоглаголических бревиариев начала XIII–XVI в., В. Бадурин-Стипчевич отмечает прежде всего их сильную зависимость от латинского оригинала и приходит к выводу о важности этих переводов для реконструкции хорватскоглаголической Библии в целом. В. Чермак обнаруживает в ветхозаветных текстах хорватскоглаголических бревиариев (переведенных, как правило, либо с латинского, либо с греческого оригинала) отдельные главы, источником для которых послужили вместе и латинский, и греческий переводы. В так называемом Загребском триоде (IVd107 коллекции Хорватской академии наук и искусства) Э. Црвенковска выделяет языковые черты, указывающие на его македонское происхождение, принадлежность Охридской книжной школе и датирует его XIII в. З. Рибарова проводит сравнительное исследование параллельных чтений хорватскоглаголических паримейников и бревиариев для определения наиболее архаичного слоя паримейной лексики, что, по мнению автора, важно для изучения кирилло-мефодиевского наследия в хорватских источниках и истории кирилло-мефодиевских паримейников. П. Станковска представляет текстологическое исследование гомилий в составе хорватскоглаголических бревиариев XIII–XV вв. По текстам бревиариев XIII–XIV вв. А. Зарадия-Киш отмечает развитие в хорватских землях культа св. Мартина, тринадцатого апостола.

З. Хауптова анализирует кириллическую, датированную XIII в., надпись на камне, который использовался впоследствии при строительстве чешской барочной церкви, с точки зрения того, насколько долго удерживалась в Чехии церковнославянская традиция; характерно именование здесь Христа “витязем”, что исключает восточнохристианское происхождение автора надписи. Две статьи посвящены боснийским новозаветным сборникам. Х. Куна исследует кириллические записи на полях четвероевангелия из села Вругок для определения времени (XV в.) и места (Западная Босния) создания сборника. Я. Юрич-Каппель подводит некоторые историографические итоги исследования глаголического рукописного сборника середины XV в. боснийского “крестьяни-на” Радована.

Т. Томашич обращается к деятельности модрушского епископа и организатора глаголической типографии в Риеке Ш. Кожичича Беньи (ок. 1460–1536). Основываясь на высказывании Кожичича о его недовольст-

ве языком глаголических книг и желании стандартизовать его, автор анализирует язык напечатанных им книг и приходит к выводу, что ему “не удалось поколебать основы языка глаголических изданий” (V. I. S. 281). В статье В. Бабич показано, как кириллическая графика первых восточнославянских грамматик церковнославянского языка Л. Зизания и М. Смотрицкого, а также восточнославянские орфографические правила, фонетика и морфология влияли на графическую систему, орфографию и язык изданных в Риме хорватских глаголических богослужебных книг XVII–XVIII вв.

Авторы этой части сборника разбирают также графические особенности глаголических текстов (М. Жугар, М. Чинчич), некоторые аспекты грамматики старославянского языка (С. Ладич, Я. Винце-Маринач), историко-филологические труды XIX в. (С. Дамянович).

В разделе о хорватском языке XX в. большое внимание уделяется становлению и развитию хорватистики в научных центрах и университетах Европы, Америки, Австралии (В. Грубишич, Д. Пешорда, Л. Васильева). Значительное место отведено материалам, демонстрирующим исторические корни современного хорватского языка, и прежде всего отражению языковых процессов в грамматиках хорватского языка, изданных в конце XVIII–XX в. (Ж. Белякович, Э. Барич, И. Ньюмаркаи). В. Ришнер рассматривает употребление предлогов *и* и *на* с аккумулятивом и локативом хорватскими писателями XVIII–XX вв. и отмечает однотипность замены двух падежей и предлогов на протяжении рассматриваемого времени. С. Вукушич, исследуя историю современных ударений в личных местоимениях в падежных формах генетива-аккузива и датива-локатива (*мене, пјети и т.п.*), приходит к выводу о длительном влиянии на современное литературное произношение западной штокавщины (посавский, юго-западно-истрийский и др. диалекты).

Особенности языковых процессов в Хорватии определяются главным образом стремлением к утверждению нормы на всех языковых уровнях. Но вследствие того, что сама норма современного хорватского языка находится в процессе становления, многие статьи посвящены процессам словотворчества (М. Турк, Х. Павлетич); возможным механизмам стандартизации литературной лексики, выработки единых правил грамматики – фонологии, морфологии, синтаксиса и т.д. (М. Чилаш, И. Пранькович, М. Зника, С. Кондич, А. Пети-Стантич, Д. Блажи,

М. Ванчац, М. Ковачевич); внесению дополнений и изменений в грамматические определения и словарные статьи (Б. Куна, К. Митани, М. Пети); составлению новых словарей (Б. Петрович, Л. Худечек). Мерилом принятия словарной нормы являются, как правило, частотные варианты живого разговорного языка (И. Зоричич). С точки зрения особенностей литературного оформления разговорных форм интересна статья М. Катнич-Бакарич, посвященная отличиям разговорной речи и диалогов драматургических произведений.

Ставится и проблема “чистоты” хорватского языка, необходимости противостояния проникновению иностранных слов и поиска адекватной им замены в хорватском (Б. Крижан-Станоевич). Эта тема развивается в статье М. Михальевич, которая предлагает модели создания хорватской технической терминологии. При неизбежном наличии слоя англицизмов и американизмов, отмечается в статье Б. Кунцманн-Мюллер, хорватский язык входит в число языков, “трудно усваивающих чужой языковой материал и отдающих предпочтение языкотворчеству, основанному на собственной лексической базе” (V. 1. S. 514). Используя материал (устный и письменный) средств массовой информации, автор исследует изменения в современном хорватском языке и показывает определяющее значение общественных перемен для появления или исчезновения многих слов и понятий. Здесь же отмечается свойственное также и другим славянским языкам посткоммунистического времени проникновение устного медийного языка и стиля в письменные, в том числе литературные, тексты.

Отражение социальных, политических, культурных факторов в современном хорватском языке интересует многих авторов сборника. Д. Сесар и И. Видович, отмечая разрушительное влияние “новояза” на все славянские языки, выделяют негативные аспекты его воздействия на хорватский язык и культуру, в частности разрушение структуры языка, прежде всего синтаксиса, ограничение функций языка литературной традиции, деградация части лексики – распространение слов с “пустой” семантикой, компрометация части фразеологизмов, создание иллюзии всеобщей компетентности в языке и опасности изменений принятых моделей, укоренение “новояза” в языке средств массовой информации и политики. Исследуя особенности административного языкового стиля, М. Ковачевич и Л. Бадурина указывают на его функциональность и одновременно – губящее ее “рабское” отно-

шение к форме; отмечается также влияние административной канцелярской речи на разговорный язык и публицистику. Э. Вроцлавска пытается установить “языковой стереотип хорватской интеллигенции”, во многом обусловленный присутствием различным слоям населения “сильным этическим (т.е. патриотическим), а не практическим отношением к собственному языку” (V. 1. S. 666). Отсюда – присутствие некоторым научным работам по языкознанию “эмоционально окрашенные лексика и стиль”. И. Ивас, рассматривая распространенные в хорватском разговорном языке конструкции типа “Opo sto je vazno je (to) da”, полагает их калькой с английского “What is important is that” и считает, что на хорватской почве они стали не только синтаксической фигурой, но и идеологемой, частью политического жаргона, маркирующей определенный социальный статус говорящего. Специально анализируются особенности детской речи (З. Еласка, М. Ковачевич).

Б. Ковачевич и А. Халоня рассматривают проблему неизбежного отступления от нормы при работе в разговорных программах Интернета, которое является следствием быстроты коммуникации и разного образовательного и технического уровня пользователей. Тексты прогнозов погоды, помещенные в Интернете, отмеченные соединением журналистского и научного стиля и терминологии, исследуются Ж. Бриоваш и М. Хорват.

В ряде статей высказывается мнение о том, что развитие и стандартизация хорватской языковой нормы не должны исключать изучения в школе диалектов, фонологический, морфологический и синтаксический состав которых является для учеников “домашним” (Д. Павличевич-Франич, И. Сонович). Непосредственно диалектной структуре современного хорватского языка посвящена статья С. Вранича, который в экавском говоре чакавского наречия выделяет ряд групп говоров, составляющих поддиалекты экавско-чакавского диалекта – приморский, средний истрийский, северо-восточный истрийский и островной.

Тема взаимопроникновения языковых и семантических элементов как следствие культурных контактов оказывается в центре внимания многих лингвистов. Исследуются прежде всего различные аспекты грамматики, синтаксиса, лексического состава хорватского языка в сравнении с другими славянскими языками (М. Попович, Р. Тростинска, В. Пожгай-Хаджи, А. Спагиньска-Прусак, Р. Вижкевич-Максимов, Ж. Финк, Д. Хорга).

Особое внимание уделяется контактам хорватского языка с венгерским, итальянским, немецким языками, во многом обусловленным особенностями политической истории хорватских земель (Ю. Мориц, О. Жагар-Сентези). Исследуя распространение в различных диалектных зонах лексем для обозначения “подушки”, А. Чилаш и И. Куртович выделяют четыре наиболее часто встречающихся варианта – *kusin*, *blazina*, *vankus*, *jastuk*, что приводит авторов к широким обобщениям об адстратном влиянии на хорватский итальянского венецианского, немецкого (через посредство турецкого) и турецкого языков.

Х. Хеффер и Ж. Йозич анализируют разницу в хорватской спортивной терминологии 1941 и 1990 гг., акцентируя внимание на немецкое и английские влияния на ее становление.

Специально рассматривается язык хорватского населения, несколько веков проживающего в исторической области современной восточной Австрии – Бургенленде (хорв. Градишче). З. Кинда-Берлакович отмечает сильное немецкое влияние (лексическое, фонетическое, грамматическое, орфографическое) на язык градишчанских хорватов во второй половине XX в. (особенно в среде билингвов). Н. Бенчич представляет обзор литературных произведений градишчанских хорватов, отмечая двуязычие их культурной жизни.

Хотя хорватские литераторы эпохи возрождения и барокко считаются зачинателями хорватского литературного языка, и их представления во многих статьях сборника выступают в качестве языковой и культурной основы произведений современных хорватских авторов, раздел, непосредственно посвященный их творчеству, представлен небольшим рядом достаточно случайных исследовательских сюжетов. Однако это свидетельствует не об отсутствии интереса к данной теме, а, скорее, о необязательности большей части докладчиков соответствующей секции, принимавших участие в работе конгресса. Й. Райнхарт обнаруживает у задарского писателя Ш. Будинича в его переводе (Рим, 1538) сочинения П. Канизия “Сумма наук христианских” многочисленные богемизмы и полонизмы, которые, по мнению автора, явились следствием общения Будинича с каким-то чехом в Риме. В центре внимания В. Осолника – поэтические описания в дубровницкой ренессансной поэзии “диклиц” – девушек или женщин, в образах которых соединилась физическая красота, душевная глубина и ум. Р. Пшихис-

тал полагает, что произведение М. Марулича “Параболы” было призвано не “зашифровать”, а разъяснить обычному человеку основные истины веры.

З. Шундалич находит тематические, композиционные и стилиевые аналогии в двух молитвенниках – дубровницком (XVII в.) францисканца В. Андриашевича и славонском (XVIII в.) иезуита А. Канижлича и приходит к выводу о сходстве барочных процессов в литературе этого жанра как в Северной, так и в Далматинской Хорватии. Метрический стих в парафразах псалмов XV–XVIII вв. анализирует Д. Мрдежа-Антонина. Автор отмечает “выраженную метрическую унифицированность” этих текстов и одновременно – “поэтическую индивидуальную интерпретацию”, что роднило литургические версификации с модным для того времени метрическим репертуаром и обеспечило им популярность. С. Вулич проводит сравнение существительных в трех произведениях Ю. Мулиха, написанных в середине XVIII в. на кайкавском, штокавском и чакавском наречиях.

Широта историко-культурного контекста материалов раздела о новой и новейшей истории и современном состоянии хорватской литературы была во многом обусловлена заданной темой (“Хорватская литература в европейском контексте”), предполагающей преимущественное внимание к европейским основам литературных процессов в Хорватии. Показательна здесь с точки зрения основной тенденции исторического литературоведения в Хорватии статья З. Ковача, постулирующая необходимость отказа от идеологических парадигм и “монокультурного” подхода к истории славянских литератур; методологическая позиция автора обозначена в самом названии – “Интеркультурная история литературы и интеркультурная интерпретация”. Обзор собраний сочинений и избранных трудов хорватских литераторов за последние полвека содержится в статье М. Тушек.

Большая часть статей раздела посвящена особенностям литературных переводов на хорватский и, конечно, в первую очередь – хорватских произведений на другие языки, изданию которых придается в Хорватии особый смысл в контексте интенсивных здесь процессов культурного самоопределения. Показательно, например, что современный итальянский перевод эпического произведения барочной эпохи “Осман”, принадлежащий перу И. Гундулича, И. Грдич рассматривает как акт “постколониальной открытости”. Интересен репертуар исследуемых

переводов с хорватского. Наибольшее внимание уделяется переводам произведений М. Крлежи – на венгерский (С. Блажетин, А. Продан), итальянский (В. Дельбианко), македонский (А. Гулецка-Хайдич). Исследуется перевод поэтических произведений В. Парун на польский (Л. Данилевска), испанское переводное издание поэтического сборника 1956 г., объединившего стихи 61 хорватского поэта (Ф. Гальвез). Рассматриваются переводы И. Броды на немецкий (В. Обал).

Среди статей о переводах на хорватский – статья Х. Перичич о переводе начала XIX в. “Гамлета”, выполненного Б. Перичичем, для которого оказались характерны смена стихотворного размера, увеличение числа стихов, собственная интерпретация и пр. М. Любич обращается к первому полному переводу на хорватский “Божественной комедии” Данте, автор которого – хорватский епископ конца XIX в. Ф. Уччелини испытал сильное влияние народного языка и народного поэтического творчества. Затрагивается здесь и проблема отражения в переводах культурных и ментальных различий. Д. Блажина выводит интересную закономерность хорватских переводов, рецепций и интерпретаций XIX–XX вв. произведений польской драмы эпохи романтизма (прежде всего А. Мицкевича). В них предельно редуцируется дух “романтического мессианизма”, который и придает этим произведениям “специфический, национальный и универсальный характер”, возможно, потому что в хорватской литературе по разным причинам не существовало собственного репертуара романтической драмы и дух ее остался здесь непонятым (V. II. S. 97).

Некоторые статьи посвящены влиянию европейской литературы различных направлений на становление хорватской литературы XX в. (А. Билич, К. Чоркало, М. Кулешевич, Д. Маркович), анализу творчества хорватских писателей как составной части синхронного европейского литературного процесса (М. Лето, С. Марьянич). С. Лукач рассматривает схожие процессы в лирической поэзии Хорватии и Венгрии во второй половине XIX в. Речь идет о соединении присущего литературе первой половины века стремления к национальному самоутверждению и чисто художественного самовыражения.

Малоизвестные у нас подробности литературной деятельности русских эмигрантов в Хорватии представлены в статье И. Лукчич. Ее особенности здесь во многом обуславливались внешними обстоятельствами –

распадом Австро-Венгрии, объединительными процессами у южнославянских народов, доминированием немецкой культуры, влиянием католической церкви. То, что русские в Хорватии оказались на периферии европейского эмигрантского пространства, повлияло на их отношение с окружающим населением. В отличие от замкнутости диаспор крупных эмигрантских центров, русские землячества в Хорватии активно контактировали с местной культурой. Их объединения – Русская матица, Русский кружок, Русский клуб и др., а также их журналистская и писательская деятельность, основными представителями которой были Н. Федоров, И. Александр, К. Римарич-Волинский, имели выраженную “бикультурную ориентацию”. Двухязычное творчество русских авторов несло культурнопросветительскую нагрузку и способствовало укоренению “русских цитат” в хорватском языке и культуре.

“Русская” тема представлена и в других разделах. Я. Войводиц прослеживает хорватские театральные постановки по произведениям Н.В. Гоголя с 1874 по 1980 гг. и отмечает их актуальность. А. Влашич-Анич пишет о влиянии русского авангарда (Хармс) на постановки загребского студенческого театра “Кугла глумиште” в 70–80-е годы XX в.

Р. Лауэр напоминает историю выступления немецкого писателя Эрнста Толлера на XI конгрессе ПЕН-клуба в Дубровнике в 1933 г. – по существу первого выступления немецкого автора против гонений на литераторов демократического толка и писателей еврейского происхождения в гитлеровской Германии. Автор рассматривает этот эпизод на фоне интенсивных связей Толлера с некоторыми литераторами тогдашней Югославии в 1930-е годы.

Б. Брленич-Вуич прослеживает, как под влиянием особенностей культурно-исторической ситуации южного Средиземноморья (в том числе Далмации), развитием здесь античной и христианской культур, складывались поэтические образы современного хорватского автора П. Шегедина. С. Перич-Гавранчич показывает, как в латинских и итальянских стихах хорватского поэта эпохи Возрождения Л. Паскалича проявлялась его принадлежность “иллирскому” и далматинскому культурному кругу.

Жанр дневника-хроники исследуется М. Татаринцом на примере латинской рукописи конца XVIII в. славонского жупника А.И. Турковича, для которой были характерны переплетение исторических и автобиографических событий. Отдельная статья

посвящена произведениям биографического жанра XV–XX вв. (В. Брешич).

В нескольких статьях затронуты проблемы развития детской литературы в Хорватии в контексте мировых проблем создания книг этого жанра (Д. Харамия, Д. Тежак). Сказки и басни начала XX в. И. Брдиич-Мажуранич (их сравнивали в свое время со сказками Андерсена) Д. Зима рассматривает как произведения неоромантической струи в европейской литературе конца XIX в., вышедшие за пределы детской аудитории и вобравшие в себя элементы мифа, фантазии и христианской религиозности.

Говоря в целом о современной литературе и о понятии “модернизм” в литературоведении, как в Хорватии, так и в других странах, К. Иванкович отмечает, что это понятие остается “хронологически непоследовательным и терминологически неопределенным”, из-за чего возникают трудности с периодизацией и типологией литературных процессов в рамках “постмодернизма”.

Схожий тезис выступает рефреном многих статей раздела, посвященного этому явлению в хорватской литературе: в них указывается на отсутствие более-менее приемлемого хронологического, типологического, культурноисторического и терминологического аппарата постмодернизма в литературе (наиболее последовательно – А. Цар-Михец). Тем не менее эта проблема рассматривается большинством авторов исходя из некоего формального набора характеристик – эклектизм, пародия, ирония, рефлексия, тривиализация, отсутствие историзма, связь с массовой культурой и т.д.

Д. Ораич-Толич обращается к хорватской прозе конца XX в. После распада Югославии и создания национальных государств хорватские писатели, отказавшиеся от всякой идеологии, оказались перед проблемой изображения действительности, анализа понятий свободы, родины, самосознания, добра, зла и т.д. Тогда стали выработываться “постидеологические стратегии” – идеологическая позиция всячески маскировалась, авторы концентрировались на изображении страданий “маленьких людей”, показывали свое отстранение от изображаемой действительности, поддельвались под нее и пр. При этом широко использовались приемы описания действительности от третьего лица, использование документальных материалов. В разделе рассматриваются произведения хорватских авторов, творчество которых определяется как постмодернистское или близкое к постмодернистскому – М. Крлежи, Р. Маринковича, В. Калеба

(М. Чале), С. Новака (Б. Шкворе), Т. Маровича (З. Радос), П. Шицела (Д. Бачич-Каркович), Й. Севера (Б. Бошняк), Г. Трибузна (Я. Погачник), М. Гаврана (Л. Шарич, В. Виттшен). Характерно отмечаемое у многих авторов влияние ренессансной и барочной далматинской и дубровницкой поэзии. В творчестве Л. Палетака К. Бакия обнаруживает мотивы и стихотворные реминисценции дубровницкой поэзии, прежде всего И. Гундулича. В романе П. Павличича “Покора” Т. Юкич усматривает игру с текстом “Юдифи” М. Марулича.

Особые отношения с прошлым, опора на традицию присущи историческим романам современных хорватских авторов, в которых при наличии некоторых элементов постмодернизма М. Протка отмечает “отсутствие пародийного дискурса, последовательное принятие исторических (эстетических и этических) ценностей”, что, по мнению автора, противоречит характерному для постмодернизма “антикварному отношению к прошлому”. К иным выводам об особенностях постмодернистских хорватских “новоисторических” романов приходит Ю. Матанович. В отличие от своих предшественников, видевших в истории “учительницу жизни”, современные хорватские романисты судят историю. Они не пользуются документами, основным источником для них является устный рассказ, а в качестве рассказчика чаще всего выступают свидетели трагических событий последнего времени, но они повествуют не о подвигах героев, а об их слабостях; “здесь нет и следа романтического национального восторга” (V. 2. S. 386). С этим заключением переключаются основные положения статьи К. Пененжек, посвященной поиску элементов самосознания лирического субъекта в постмодернистской хорватской поэзии. Признавая “невозможность однозначного их определения”, автор отмечает характерное для молодых поэтов “отрицание всего, и прежде всего себя”, “стремление забыть прошлое”. Наиболее распространенным жанром 90-х годов XX в. в Хорватии стала автобиография, что Х. Сабич-Томич связывает с утверждением культуры индивидуализма в условиях отказа от коллективного и тоталитарного мышления в пользу персонализированного.

Началом постмодернизма в драматическом искусстве Хорватии Й. Дзюба считает издание в 1968 г. театрального журнала “Пролог”, создатели которого – группа молодых загребских драматургов, желая “избавиться от комплекса провинциальности”, восприняли новые эстетические критерии,

основанные на языковой эклектике и жанровой неопределенности.

Л. Чале-Фельдман прослеживает, как в понимании феминистической театральной критики произошла смена символики женского тела в хорватской драме XX в. – от ассоциации с “природой” к семантике (в постмодернистской драме) “национальной и экзистенциальной свободы”. В публицистических произведениях современных хорватских писателей речь о проблеме бегства и беженцев Р. Ямбрешич-Кирич видит преимущественно “феминистический интерес” к рассказам о своих судьбах надломленных женщин-беженцев, к пониманию ими своего места в семье в ситуации невозможности возвращения домой, своей этнической принадлежности и одновременно – своей идентификации в качестве “беженцев” (особенно среди молодежи). Основными источниками о жизни беженцев оказываются исповеди жертв насилия, отрывки женских дневников, писем и т.п., что, по мнению автора, составляет основу “женской феноменологии бегства”, противостоящей официальной “патетической национальной истории о героическом отпоре и неоплатной жертве” (V. 2. S. 368).

Г. Рем анализирует маргинальную поэзию фанов и отмечает ее проникновение в постмодернистскую поэзию. С. Храпец находит элементы постмодернизма в хорватской детской литературе.

Проблема идентификации и самоидентификации хорватской культуры и отдельных ее элементов объединяет большую часть материалов, представленных в разделе “Хорватская культура и цивилизация”.

По понятным причинам много статей посвящено проблемам этнокультурного единства населения хорватских земель и культурной самоидентификации. Авторы нескольких статей, проанализировав фольклорные тексты как объединяющие во времени хорватское культурное пространство, показывают их принадлежность к европейской народной культуре. С. Ботица, сравнивая тексты лирических песен и стихов, собранных в ходе фольклорных экспедиций 1990-х годов, с записями народных песен и сочинениями хорватских поэтов Возрождения, обнаруживает неизменность на протяжении столетий многих мотивов. Автор отмечает также в современной кайкавской народной лирике Северной Хорватии много больше штокавских элементов, чем характерно для общения в повседневной жизни, что показывает путь распространения этого вида народного творчества – из Южной Хорватии, где и развивалась (в основном на штокавской диа-

лектной основе) возрожденческая лирическая поэзия. Э. Банов анализирует средневековые народные песни религиозного содержания, распространенные среди населения побережья Кварнерского залива, с точки зрения их родства с традицией латинского религиозного песнопения, с одной стороны, и странствующих певцов и стихов итальянских, французских и испанских трубадуров, с другой. Некоторые особенности пасхальных гуляний в средневековом Дубровнике рассматривает И. Лозица. Л. Марк обращается к “ходячим” устным сюжетам в современной Хорватии, их истокам, изменениям во времени, их общеевропейскому культурному контексту. Анализируются, в частности, речевые тексты о подданном, помогающем переодетому и неузнаваемому правителю и получающем впоследствии награду, о мертвец, который вдруг напоминает родным о себе, сюжеты с предсказаниями каких-либо событий и пр. О том, как в целом представлено устное творчество в исследованиях по истории хорватской литературы XIX–XX вв., рассуждает Г. Новакович.

Д. Брозович-Рончевич и И. Шауб-Гермерич исследуют славянские соответствия латинским топонимам римского времени пва Истрия и о. Брач; авторы пытаются выстроить хронологию фонологических изменений в топонимах и тем самым уточнить датировку славянских названий и, соответственно, укоренение славянских (хорватских) племен на территории Восточной Адриатики. Бытование у католиков-хорватов Боснии и Герцеговины XVI–XVIII вв. преданий и легенд о сакральных предметах (колокола, кресты, чудотворные изображения и пр.), сохранившихся в письменных памятниках и отраженных в археологических свидетельствах, М. Драгич рассматривает как свидетельство сохранения их этнокультурного самосознания в чуждой конфессиональной среде. К. Филипец анализирует материал раскопок кладбища XI–XVI вв., расположенного в центре Дьяково (Славония), демонстрирующих его сходство с соответствующими предметами из приморских областей, что свидетельствует, по мнению автора, о процессе переселения их жителей в малонаселенные северохорватские области, продолжавшемся до занятия их турками. “Богомилство” выступает в статье И. Прицы не как исторический эпизод, а как современная хорватская литературная и публицистическая метафора, символ преодоления пропасти между Востоком и Западом в литературных и публицистических описаниях

формирования хорватской этнокультуры. Литературное творчество священника П. Матиевича (1896–1960) анализируется с точки зрения отражения в нем самосознания славянских крестьян (А. Пинтарич).

Л. Церголлерн-Милетич, движимая, с одной стороны, частыми разговорами последнего времени о “хорватской культуре”, а с другой – обсуждением в хорватской этнологической литературе проблемы специфики этой самой “хорватской культуры”, представила результаты социологического опроса о ее восприятии хорватами и иностранцами. Большинство хорватов (в том числе и из диаспоры) связывают с этим понятием хорватскую историю, язык, католическую мораль, сочетание средневропейского и средиземноморского влияния (редко указывается турецкое и восточное влияние); как главная особенность часто называется глаголица, особенности жилища, народная одежда, сильные родственные связи. Иностранцы респонденты (помимо схожих ответов) указывают также на остаточное влияние “коммунистического режима” на образ жизни и менталитет людей Хорватии, что сами хорваты не упоминают вовсе. Последнее обстоятельство соотносится с материалом специального исследования Н. Риттиг-Беляк об истории форм обращения в Хорватии в XX в., проведенного на основе пособий по этикету. Автор показывает, что обращение “господин”, “госпожа” в послевоенной Хорватии всегда оставались в ходу в частной жизни, а обращение “*drug, drugarica*” редко выходило за пределы официальной сферы.

Б. Арапович прослеживает, как в языках народов Северной Европы менялось значение лексемы ‘*krabat*’ от исключительно этнонимичного до переносного, причем со временем этнимом приобрел форму ‘*kroat*’, а слово ‘*krabat*’ осталось только с переносным значением: во время Тридцатилетней войны (1618–1648) этим словом обозначались хорватские воинские части, затем оно стало употребляться с пейоративным оттенком в значении “разбойник”, а в настоящее время приобрело положительный смысл – “отличный парень”.

Представления о хорватах в произведениях современных итальянских писателей Л. Карпинтери и М. Фарагуны рассматриваются В. Дежелин. Описываемые ими события хронологически охватывают 1880–1950 гг. и происходят в разных местах адриатического побережья Хорватии от Триеста до Боки Которской. Язык персонажей пред-

ставляет так называемый “колониальный венецианский” говор, насыщенный “итальянизированными” хорватизмами, обозначающими предметы повседневной жизни, именами, прозвищами, антропонимами, ругательствами и пр. В наибольшей мере итальянизация охватила все слои восточно-адриатического побережья в период господства фашизма в Италии, что проявлялось в языке и прежде всего – в замене фамильного окончания “ич” на итальянские фамильные формы. Вместе с тем отношение с итальянским этническим элементом на этой территории характеризовалось взаимопроникновением культур.

Изменения в топонимии Истрии XIX–XX вв., связанные с итальянизацией названий, прослежены в статье Б. Црленко. М. Беняк исследует языковые (хорватские и итальянские) приоритеты в среде билингвов истрийских гимназий. И. Ловрич-Йович на основе изучения языка дубровницких завещаний приходит к выводу о массовом проникновении итальянизмов в язык дубровчан с XIX в., когда Дубровник вошел в состав Австро-Венгрии, а итальянский стал официальным языком и языком обучения. Последствие итальянского языкового влияния – повседневная речь дубровчан и язык дубровницких литераторов двух последних столетий.

Интерес ряда авторов к проблемам культурных связей между словаками и хорватами во многом обусловлен их сравнительно долгим сосуществованием в рамках одного государства – Австро-Венгрии. Е. Милешова сообщает подробности деятельности некоторых выходцев из Словакии, много потрудившихся в XIX в. для развития хорватского языка (Ш. Мойзес, загребский архиепископ Ю. Хавлик, Б. Шулек и др.).

В разделе помещены также статьи о деятельности религиозных орденов (иезуитов, францисканцев, павликиан и др.) у поляков и хорватов в XVII–XVIII вв. (А. Боровец), о житиях святых в Хорватии XVIII–XIX вв. (Д. Зечевич) и др.

© 2003 г. О. А. Акимова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sesar D. Potvrdivanje samostalne kroatistike // Vijenac: Novine Matice Hrvatske za knjizevnost, umjetnost i znanost. 'Osijek, 1999. God. 7. Br. 144.*

Е.Ю. СЕРГЕЕВ. "Иная земля, иное небо..." Запад и военная элита России (1900–1914 гг.). М., 2001. 282 С.

Для отечественной, да и мировой исторической науки последних десятилетий характерен повышенный интерес к субъективному фактору истории во всей его многомерности. Речь идет в данном случае, разумеется, не о деяниях отдельных лиц, "двигающих" историю, а о состоянии умов в определенный отрезок времени, о сознании социальных групп, занимавших в тех или иных исторических условиях ведущее положение в обществе и в силу этого оказывавших решающее влияние на выработку внутри- и внешнеполитического курса отдельных государств. Едва ли можно в полной мере осмыслить причины роковых неудач России в Первую мировую войну без исторической реконструкции сознания элитных слоев российского общества и далеко не в последнюю очередь военной элиты – генералитета и высшего офицерского состава военных и морских министерств и генеральных штабов. Монография Е.Ю. Сергеева обращается к изучению одного из важнейших аспектов духовного мира российской военной элиты. Речь идет об отношении к западным странам, их государственным системам и политическим порядкам, принципам организации армии, национальным культурным традициям. Насколько адекватен был образ западного мира в целом и его отдельных национально-государственных составляющих в сознании российского генералитета и высшего офицерства? Сквозь призму каких стереотипов воспринимала военная элита России экономические и политические изменения, происходившие в начале XX в. в Германии, Великобритании, Франции, Австро-Венгрии, Италии, США? Как трансформировались эти стереотипы с течением времени, под влиянием существенных перемен не только на Западе, но и в самой России, и какую роль они сыграли при выработке военных доктрин, определявших стратегию российского командования в условиях резкого нагнетания напряженности в Европе накануне Первой мировой войны? На эти и ряд других вопросов автор пытается дать ответы, опираясь на тщательный анализ разнообразных источников, демонстрируя при этом глубокое знание исторического контекста – как внутреннего, так и международного.

Формирование в последние десятилетия новой области гуманитарного знания – имажинологии – сопровождалось выработкой надежного методологического инструментария, позволяющего реконструировать представления отдельных этнических и социальных групп о ближних и дальних соседях. При этом ученым-историкам приходится вступать в сферу смежных гуманитарных дисциплин – в первую очередь социальной психологии и культурологии. О неплохом знакомстве Е.Ю. Сергеева не только с отечественной, но и с зарубежной (в первую очередь англоязычной) литературой 1990-х годов по имажинологической проблематике свидетельствуют многочисленные ссылки на работы коллег, применявших те или иные методы и подходы при изучении стереотипов сознания отдельных социальных групп (из значительной литературы самых последних лет вне поля его зрения остались разве что два содержательных сборника 2000 г., посвященных взаимным представлениям русских и поляков [1; 2] и уже успешных вызвать определенный резонанс в профессиональной среде). При этом автор отнюдь не оказывается в плену чужих схем – из методологических приемов, апробированных другими учеными, он выбирает только то, что способствует решению стоящих перед ним конкретных исследовательских задач. Одно из достоинств труда Е.Ю. Сергеева состоит в обращении к широкому кругу источников, ранее мало или совсем не использовавшихся в исследованиях отечественных "имажинологов". Объем переработанной им документальной базы поистине впечатляет – наряду с многочисленными документами семи московских и петербургских архивов (АВПРИ, ГАРФ, РГВИА, РГИА, РГА ВМФ, отделов рукописей РГБ и РНБ) в работе широко использованы пресса и публицистика начала XX в., мемуары военных деятелей. Особый интерес представляют донесения российских военных атташе в западных столицах, не только отражавшие, но и в определенной мере формировавшие образ Запада в сознании российской военной элиты начала XX в. (см.: [3. С. 92–95]).

Главные выводы монографии Е.Ю. Сергеева не вызывают возражений. Действи-

тельно, “к началу Первой мировой войны военная элита России не успела, опираясь на опыт Запада, предложить каких-либо заслуживавших внимание проектов изменения всего вектора политической эволюции империи, способных консолидировать русское общество” (С. 229). Эта привилегированная прослойка общества не только не сумела выступить “локомотивом” реформ (как это было в XX в. во многих европейских, ближневосточных, латиноамериканских странах), но, напротив, “по своей сути являлась антагонистом политической и экономической модернизации” (С. 242). Инертность сознания военной элиты, ее слабая способность адаптироваться к вызовам времени проявилась, среди прочего, в недооценке экономического и военного потенциала западных стран, а с другой стороны, в переоценке возможностей России. Как справедливо пишет Е.Ю. Сергеев, представления о колоссальных ресурсах Российской империи «создавали у автократического режима иллюзию неограниченных стратегических возможностей. Даже неудача на Дальнем Востоке поколебала ее для большей части военной элиты лишь в малой степени, поскольку объяснялась происками бунтовщиков, подкупленных врагами России в ходе “смуты” 1905 г.» (С. 106). Все это не могло не сказаться на выработке оборонной доктрины и – шире – концепции обеспечения национальной безопасности России в условиях назревания мировой войны, которая, в итоге, так и не была разработана.

Особенности менталитета российского генералитета могут быть в полной мере поняты лишь принимая во внимание социальное происхождение, воспитание и образование, специфику прохождения службы высшим офицерством. Не удивительно, что в работе Е.Ю. Сергеева обрисован социальный портрет военной элиты России – им предваряются главы, посвященные анализу сознания этого слоя в его различных измерениях. Как доказывает автор, «несмотря на постепенное проникновение в среду российской военной верхушки новой генерации офицеров, начинавших осознавать необходимость приведения социально-политической сферы в соответствие с реалиями нового, индустриального века, “погоду” в высших эшелонах власти вплоть до начала мировой войны делали выходцы из аристократических дворянских фамилий, которые были отнюдь не заинтересованы в изменении вектора развития страны по западным моделям» (С. 239).

Можно согласиться с тем, что характерными чертами ментальности высшего российского офицерства были консерватизм, представления об особой миссии России, верность престолу, настроенное отношение к конституционализму и неприятие демократических ценностей гражданского общества. Антидемократизм во многих случаях “сочетался с этнической интолерантностью, порой принимавшей крайнюю форму великодержавного шовинизма” (С. 81), хотя, по мнению автора, здесь наблюдалась и определенная амбивалентность, мировоззрение высшей имперской бюрократии (включая генералитет) не исключало и проявлений космополитизма, тем более, что среди генералов было немало выходцев из немецких фамилий, сочетавших верность российскому монарху с природным германфильством. Консервативно-националистическая зашоренность, в полной мере проявившаяся в сознании политической и военной элиты, оборачивалась неспособностью “верхов” осознать острее проблемы Российской империи на адекватном уровне, чтобы приступить к их решению с учетом позитивного опыта своего времени (например, удачного разрешения конфликта между Швецией и Норвегией в 1905 г.). Действия правящих кругов зачастую “основывались на убеждении в том, что посредством строгих распоряжений и принудительного регламентирования можно изменить национальный характер народа – поляков, финнов, евреев и т.д.” (С. 211).

Правда, когда речь заходит о лояльности престолу, сразу возникает вопрос: как же тогда объяснить события Февраля 1917 г., когда значительная часть военной элиты по сути лишила монарха своей поддержки? По мнению автора, с которым трудно спорить, решающую роль сыграл здесь опыт Первой мировой войны. «Дискредитация монарха и его семьи на протяжении войны в глазах сначала правящей элиты, а затем и крестьянских масс стала фатальной для всего социально-политического строя романовской империи. Видимо, закономерно, что момент отречения царя воспринимался современниками как церемония “похорон” всего прежнего мироустройства» (С. 74).

Не все в интересной работе Е.Ю. Сергеева воспринимается без возражений. Это касается, в частности, главы, где речь идет о влиянии панславистской идеологии как на сознание российской элиты, так и на внешнюю политику дореволюционной России. Интересные рассуждения Е.Ю. Сергеева, подкрепленные, как обычно, обилием ис-

точников, нуждаются здесь, как нам представляется, в некоторой корректировке. При всей влиятельности панславистских (в начале XX в. неославистских) течений российской общественной мысли и при всем их созвучии некоторым чертам, органически присущим менталитету элитных слоев российского общества, едва ли было бы правомерным, на наш взгляд, утверждать, что именно мыслители типа Н.Я. Данилевского задали “общий вектор политики России в отношении Запада на протяжении последнего периода существования самодержавного строя” (С. 180), и что политика насаждения неославизма сверху стала де-факто официальной линией царского правительства после японской войны и революции 1905 г. Известно, что на протяжении XIX в. царский режим, хотя в определенных исторических условиях и провозглашал себя центром славянского мира, был, как правило, не заинтересован в резком ухудшении отношений с венским двором, и дело было отнюдь не только в монархической, династической солидарности, не допускавшей явно враждебных жестов, способных нанести смертельную обиду Габсбургам – решающую роль играли схожесть представлений обеих правящих элит об основах равновесия сил в Европе, общность консервативных держав в противостоянии любым попыткам революционного переустройства снизу системы международных отношений (это касалось прежде всего периода между Венским конгрессом 1814–1815 гг. и Крымской войной). В силу сказанного, официальный Петербург отнюдь не стремился поощрять радикальные антигабсбургские славянские движения. Историками много раз приводились слова Николая I, относящиеся к 1848 г.: “Ни Богемии, ни Моравии, ничего другого не приму под скипетр России, даже ежели б об этом настоятельно просили, ибо оно было бы прямо противно выгодам нашим”.

Та же линия сохранялась и позже. В начале XX в. один из русских дипломатов доносил из Австро-Венгрии в Петербург, что зарубежные славяне “могут быть всего полезнее для России именно пока входят в состав враждебного им и нам государства” (см.: [4. С.146]). Их искусственное “революционирование”, “если вообще подобная мера допустима с точки зрения достоинства России, могло бы быть оправдано лишь в том случае, если бы оно сулило ей реальные выгоды и соответствовало ее конечным целям” [4. С.133]. При том, что боснийский кризис 1908–1909 гг. резко обострил отношения двух держав, стремление некоторых

кругов в Петербурге “слегка подтолкнуть” Австро-Венгрию к окончательному краху («что в представлении российских военных стратегов открывало возможность для заполнения геополитического вакуума в Центральной Европе через “полюбовное” соглашение с Германией» – С.147) не надо, как нам кажется, преувеличивать. Откровенно подстрекательская тактика могла принести больше ущерба престижу России, нежели конкретных политических выгод, и поэтому ее сознательно избегали, не желая давать венскому двору повод для новых ссор. Как известно, в частности, из исследований З.С. Ненашевой, русский консул, работавший в Праге в канун Первой мировой войны, в условиях крайней напряженности в австро-русских отношениях не только не подстрекал чехов против Габсбургов, но всячески дистанцировался от участия в каких-либо акциях под знаком славянской идеи, особенно тех, что были предприняты Т.Г. Масариком и его окружением [5. С.160–165]. Ход истории постоянно свидетельствовал о том, что по мере своей политической эмансипации зарубежные славяне все более тянулись к Западу, к более прогрессивным формам жизни. И наиболее мудрые петербургские дипломаты осознавали, что венгерский “гнет быть может есть лучшая гарантия любви венгерских славян к России. С прекращением его у них явятся другие интересы и – большой вопрос, будут ли последние соответствовать нашим” [4. С.146]. Идея овладения австрийской Восточной Галицией всерьез захватила умы имперской элиты лишь в условиях начавшейся войны с юго-западным соседом, став одной из важнейших военно-стратегических целей России.

Балканская политика царизма, неизменно искавшего себе союзника в освобождавшихся от Турции славянских народах, также была весьма осторожна. Даже Александр III, более подверженный, чем другие монархи, влиянию панславистских кругов, выражал недовольство деятельностью Петербургского славянского комитета, заявляя, что “славянское общество не должно вмешиваться в политику”. Таким образом, при всей неизменности славянских ориентаций и славянских симпатий в российской внешней политике, существовала и определенная дистанция между крайними панславистскими доктринами и петербургской дипломатией, как правило, осознававшей иллюзорность создания всемирной славянской империи.

Отношение к чехам в панславистских, неославистских и близких к ним кругах как

к силе, способной расшатать изнутри “неладно скроенную и скверно сшитую” двуединую монархию, было на деле несколько сложнее, чем показывает автор. Так, в 1880-е годы такой известный апологет византийских традиций, как К.Н. Леонтьев, писал о том, что чехи, да и другие западные славяне-католики – это “ничтожные европейские буржуа и больше ничего”, а потому пропаганда славянской общности может принести лишь вред дальнейшему утверждению православия и укреплению византийских начал российской государственности (подробнее см.: [4. С. 99–100]). Так что сама по себе принадлежность к славянству не всеми на консервативном фланге идейно-общественной жизни Российской империи воспринималась как гарант естественной союзнической привязанности, способствующей не только укреплению позиций Санкт-Петербурга на международной арене, но и восстановлению “племенного равновесия” в Европе, обеспечению противовеса “тевтонству” в средневропейском регионе и подерживаемому им агрессивному османизму на Балканах (С.182). Что же касается либерального фланга, то там славянская идея вообще оказывалась с середины XIX в. мало востребованной, редко кто из мыслителей этого направления видел в ней нечто большее, нежели фикцию и заманчивый (а иногда весьма опасный) мираж (подробнее см.: [6. С. 236–246]).

Хочется поспорить с тем, что “политические круги на берегах Невы с пониманием относились к деятельности” будущего отца Чехословацкого государства Т.Г. Масарика (С. 198). Известно об уважительном отношении к Масарику Л.Н. Толстого, о связях выдающегося чешского мыслителя и политика с некоторыми видными российскими интеллигентами кадетской ориентации. Что же касается официальных и неославистских кругов, то с их стороны в отношении к Масарику доминировала настороженность. В дипломатических донесениях из Австро-Венгрии в канун Первой мировой войны он нередко предстал как деятель антирусской, сугубо прозападной ориентации, успевший “в качестве профессора воспитать в плеяде университетской молодежи отчужденность к России и презрение к ее отсталому, по его мнению, государственному строю” (см.: [7]). Отношение к Масарику как к “изменнику славянскому делу”, “отщепенцу славянского чувства и всеславянской идеи”, ведущему не менее вредную антиросийскую агитацию, чем некоторые круги отечественной революционной эмиграции,

сохранялось даже в годы войны, когда этот крупный политический деятель, стремившийся сделать чешское национальное движение надежным союзником Антанты, был заочно приговорен режимом Габсбургов к смертной казни [5. С. 163]. По мнению официального Петербурга, Масарик, оказавшись у власти в Чехии в случае возможного падения Австро-Венгерской монархии, явился бы “властным насадителем в своей стране крайние западнических идей”, сторонником полного отчуждения чехов от славянского мира [7]. Показательно, что фундаментальная работа Масарика “Россия и Европа”, написанная к 300-летию дома Романовых, была запрещена в России из-за явно критического отношения ее автора к режиму Николая II. Первый ее том вышел на русском языке только в 2000 г.

Нельзя не согласиться с тем, что черноморские проливы оставались на протяжении десятилетий “голубой мечтой” российской дипломатии и военной элиты. Хотелось бы только заметить, что речь, как правило, шла о контроле над прохождением судов через Босфор и Дарданеллы, об изменении в пользу России режима черноморских проливов, и очень редко о чем-то большем. В свое время сам Николай I, никогда не страдавший, как известно, отсутствием державных амбиций, покачав головой, собственноручно вычеркнул две последние строки известного стихотворения Ф.И. Тютчева: “И своды древние Софии, / В возобновленной Византии, / Вновь осенят Христов алтарь. / Пади пред ним, о царь России, – / И встань как всеславянский царь”. Даже в начале XX в., в условиях еще большего ослабления Османской империи, вынашивавшаяся в радикальных неославистских кругах идея возвращения “в православное лоно” Константинополя и последующего создания греко-славянской неовизантийской империи вызывала со стороны официального Петербурга сдержанное отношение, воспринимаясь как слишком утопическая и опасная, ибо попытка решить эту задачу можно было лишь ценой общеевропейской войны, в которой у России едва ли нашлись бы сильные союзники.

С большим интересом читаются хорошо написанные страницы, посвященные отношению российской военной элиты к Британии. Англофобия, доказывает автор, была глубоко укоренена в высшем российском обществе, что было связано с боязнью конституционализма, опасениями реформ монархии по британскому образцу, что, естественно, предполагало ограничение импе-

раторской власти. Союз с Британией, равно как и с республиканской Францией, воспринимался сквозь призму российского “военного склада ума” (по выражению Е.Ю. Сергеева), как временный и конъюнктурный. Но не преувеличиваем ли мы влияние англофобских традиций российского дворянского сознания? Историкам известно, что еще во времена Александра I и Николая I определенным кругам российской дворянской элиты не были чужды и англофильские настроения – фрондировавший ими П.Я. Чаадаев не был в этом смысле редким исключением из правила (можно сослаться на некоторые работы Ю.М. Лотмана). Славился своим англофильством крупнейший русский правовед второй половины XIX в. Б.Н. Чичерин, принадлежавший к родовитому дворянству. Позже, в начале XX в., англоманья была широко распространена в кадетских кругах – достаточно вспомнить о той подчеркнуто англофильской атмосфере, в которой воспитывался будущий писатель В.В. Набоков, сын известного политика либерального толка. Думается, что подобные настроения не могли не коснуться, хотя бы в определенной мере, и наиболее образованной, “продвинутой” части высшего российского офицерства.

Трудно согласиться с тем, что военная элита Австро-Венгрии фактически не включала в свой состав моряков. Если бы это было так, то командующий военно-морским флотом дуалистической монархии в годы Первой мировой войны адмирал Миклош Хорти (в начале века, кстати говоря, флигель-адъютант Франца Иосифа) едва ли смог бы стать в 1920 г. правителем Венгрии в условиях, когда вектор политической жизни страны определяли реставрационные тенденции.

Привлекая данные о численном соотношении различных национальностей в Российской империи, автор ссылается на записку фельдмаршала Д.А. Милютина “О разноплеменности в населении государств”, подготовленную в 1911 г. Ряд конкретных цифр вызывает серьезные сомнения, например то, что финны составляли 4.5% подданных империи – на самом деле их было гораздо меньше. Общая численность населения Великого княжества Финляндского никак не могла достигать 9 млн человек, а именно такую цифру приводил в своей записке престарелый фельдмаршал, фаворит Александра II, в 1911 г. очень далекий от принятия важнейших государственных решений. Было бы неплохо сопоставить данные Милютина с теми, что приводятся в

других, более надежных статистических источниках. Особенно спорным в работе представляется тезис о том, что “финский вопрос в гораздо большей степени, чем польский, затрагивал перспективы выживания Российской империи в условиях бурного роста национально-освободительных движений всех оттенков, пользовавшихся поддержкой западных держав” (С. 191). Рост антиимперских настроений в Финляндии в канун и в условиях Первой мировой войны был реальным фактом, причем повышенную озабоченность верхов состоянием финского вопроса вызывала географическая близость ненадежной, герmanoфильской Финляндии к столице метрополии. И все же польские земли обладали гораздо большим удельным весом в Российской империи, численность польского населения была значительно большей, нежели финского, не могла не играть своей роли также более длительная историческая традиция польско-русского противостояния, наложившая сильный отпечаток на сознание обоих народов: для миллионов поляков Российской империя была “воплощением зла” (ср.: С. 186), тогда как миллионы россиян напрямую связывали угрозу целостности державы прежде всего именно с “польской интригой”. Наконец, польский вопрос на протяжении всего XIX в. и в начале XX в. сильнее лоббировался на международной арене, привлекая к себе (пусть, не в равной степени) внимание всех основных участников “европейского концерта”, в то время как финский вопрос помимо России никогда не терял своей актуальности для одной лишь Швеции, уже давно утратившей к тому времени статус перворазрядной державы.

Можно также спорить с попыткой противопоставить аналитиков Генерального штаба Российской империи советским военным и политическим стратегам как людям в своем стремлении к реализации глобалистских проектов совсем утратившим сколько-нибудь трезвый взгляд на возможности СССР (С. 112). Общеизвестно, что в 1930-е годы, по мере укрепления сталинского режима, прежняя революционно-интернационалистская идеологическая версия большевизма становится анахронизмом, на смену ей приходит обновленный вариант имперской идеи. Обеспечение же державных интересов СССР, как они понимались Сталиным и его окружением, требовало известного политического прагматизма, которому отнюдь не был чужд и “отец народов”. Это сказало, например, на эволюции отноше-

ния Сталина к проблеме польской государственности (см.: [8. С. 60–76]).

Высказанные частные замечания в целом не портят впечатления от интересной книги. Написанная хорошим языком, вводящая в научный оборот множество новых фактов и анализирующая их на уровне современной науки работа Е.Ю. Сергеева дает богатую пищу для размышлений всем, кого интересует сознание элитных слоев предреволюционного российского общества.

© 2003 г. А. Стыкалин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2000.
2. Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание / Сост. А.В. Липатов, И.О. Шайтанов. М., 2000.
3. Стыкалин А.С. Рец. на: Сергеев Е.Ю., Удунян Ар.А. Не подлежить оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе. 1900–1914 гг. М., 1999. // Славяноведение. 2000. № 3.
4. Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.
5. Т.Г. Масарик. К 60-летию со дня смерти первого президента Чехословакии (Круглый стол) // Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека / Отв. ред. академик Г.Н. Севостьянов. М., 1998.
6. Стыкалин А.С. Метаморфозы истории и славянское братство: Размышления над книгой // Славянский альманах. 2000. М., 2001.
7. Фирсов Е.Ф. Изменения в оценке Москвой роли ЧСР, Масарика и Бенеша в межвоенный период // Версаль и новая Восточная Европа / Отв. ред. Р.П. Гришина и В.Л. Мальков. М., 1996.
8. Стыкалин А.С. Русские и поляки: стереотипы взаимного восприятия (сборник статей “Поляки и русские в глазах друг друга”) // Славяноведение. 2001. № 5.

Славяноведение, № 5

J. RYCHLÍK.. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava, 2002. 458 S.

Я. РЫХЛИК. Распад Чехословакии. Чехо-словацкие отношения 1989–1992.

Фундаментальная монография известного чешского историка Яна Рыхлика “Распад Чехословакии. Чехо-словацкие отношения 1989–1992 гг.” продолжает многолетние интересные исследования автором этой сложнейшей проблемы [1]. Задача рецензируемой книги – найти и объяснить причину драматических событий десятилетней давности.

В работе использованы документы Архива Парламента Чешской республики, Архива Чехословацкого документального центра, а также личный архив автора, который хранится в Архиве Института Т.Г. Масарика в Праге и др. Последний представляет особый интерес для читателя, поскольку Я. Рыхлик в 1991–1992 гг. являлся советником чешского премьер-министра П. Питгарта, а летом 1992 г. входил в состав комиссии Чехословацкой социал-демократической партии по выработке концепции государственно-правового устройства Чехословакии.

Отсутствие в монографии документов из государственных словацких архивов (недоступность документов “моложе” 30 лет) удачно компенсируются широким привлечением документов из архивов частных лиц, а также негосударственных учреждений.

В первой части работы, освещающей проблему чехо-словацких отношений в период “режима нормализации”, автор детально фиксирует все аспекты деформации конституционного закона о чехословацкой федерации (S. 26). Федерация советского типа учреждалась пакетом законов, принятых чехословацким парламентом 20–21 декабря 1970 г., в том числе конституционным законом № 125/70. В условиях монопольного господства в стране КПЧ федерация, по словам автора, в том виде, в каком она провозглашалась этим законом, носила формальный и фиктивный характер. Процесс реформ 1968 г., периода Пражской весны, предо-

ставлял определенный простор для реально-го функционирования чехословацкой федерации, однако “режим нормализации”, при котором произошел возврат к положениям марксизма-ленинизма, принципиально исключал развитие в этом направлении (S. 27).

Фиктивность федеративного устройства ЧССР стала совершенно очевидной с начала 70-х годов XX в., а запрещение майоризации (т.е. решение не могло быть принято вопреки большинству представителей какой-либо из двух республик в Парламенте) оказался мертворожденным ребенком. В целом же, как доказательно утверждает автор, в период 1970–1989 гг. чехи и словаки отдалялись друг от друга как в духовном, так и культурно-политическом аспектах. “Само понятие федерации в Словакии в значительной мере было дискредитировано, поскольку связывалось с нормализационной версией урегулирования словацко-чешских отношений”, – заключает Рыхлик (S. 65). И с этим выводом автора трудно не согласиться.

Истоки конфликта на новом историческом витке автор относит ко времени крушения коммунистического режима в Чехословакии. Называя ликвидацию или отсутствие общегосударственных политических партий “характерным явлением, как правило, предшествующим распаду многонациональных государств” (S. 92), исследователь показывает процесс формирования политической системы с двумя национальными полюсами – Гражданский форум (ГФ) в Чехии и Общественность против насилия (ОПН) – в Словакии. Вслед за этим должен был вступить в действие принцип: каждому народу – “свою” партию, а затем и “свое” государство.

Уже ход президентских выборов в декабре 1989 г. недвусмысленно продемонстрировал: “национальный вопрос” будет занимать все большее место во внутривнутриполитических баталиях. Так оно и случилось, а единогласное избрание 29 декабря 1989 г. федеральным парламентом страны Вацлава Гавела президентом ситуацию не изменило. Поразительное и неестественное единодушие, которое продемонстрировал тоталитарный коммунистический федеральный парламент, избирая президентом страны антикоммунист-диссидента, выглядело как один из первых парадоксов возникающей демократии. Кто против? – Все за президента!... Разумеется, подобное единение не могло не быть иллюзорным.

С привлечением новых документальных источников ученый обосновывает положение, что одной из причин единогласия

в избрании президента, легитимизировавшего его скорее декларативную, чем реальную политическую волю (это проявилось в дальнейшем прежде всего в неудачных попытках решения им проблемы сохранения единой Чехословакии), были как раз закулисные маневры. И в первую очередь, отмечена в их результате возможного состязания В. Гавела и А. Дубчека за пост президента. Чешский автор подводит к мысли (таковой не высказывая): скрытое противостояние при демонстрируемом единении этих на то время ключевых политических фигур не способствовало и взаимопониманию политических сил внутри страны. “Воля народа” Чехословакии при этом считалась как бы сама собой разумеющейся. Но за ширмой этого единения “монополию на честность” все чаще устанавливали не общегосударственные лидеры, а политики с мононациональными предпочтениями.

Рыхлик справедливо констатирует: в 1989–1992 гг. в чехо-словацких отношениях не проявилось ничего, что в том или ином виде не возникало в прошлом, прежде всего в 1968 г. Главной проблемой были различные трактовки чехами и словаками терминов “совместное или общее государство”. Так, для чехов термин “общее государство” стал синонимом выражения “единое государство”, для словаков же оно отождествлялось с представлением о “сообществе государств (союзе)”. Тем самым уже на сугубо семантическом уровне возникли трудности возможного соглашения.

Важное место уделяется в книге первому открытому чехо-словацкому конфликту в связи с развернувшимися с 23 января 1990 г. в чехословацком федеральном парламенте острыми дебатами относительно нового названия страны, получившими название “война за дефис”. Лишь 20 апреля 1990 г. Федеральное собрание ЧССР приняло конституционный закон, по которому государство получало новое название – Чешская и Словацкая Федеративная Республика (сокращенно ЧСФР). Неофициально на чешском языке использовалось название Чехословакия (чехословацкий), а на словацком – Чехо-Словакия (чехо-словацкий) (S. 123). Рыхлик отмечает, что и это словословие не удовлетворяло и не могло удовлетворить. “Окружающий мир, – продолжает он, – всегда воспринимает многонациональное государство как государство нации, которая составляет большинство, именно поэтому ЧСФР (так же как ранее ЧССР, а до этого ЧСР) повсеместно воспринималась за рубе-

жом в качестве чешского государства” (S. 124).

Первые переговоры глав чешского и словацкого республиканских правительств (П. Питгарт – М. Чич) прошли 10–11 апреля 1990 г. в замке в Лнаржах (Южная Чехия). На них поднимался вопрос о бюджете, формирование которого, по мнению словацкого премьера, должно вестись по новым правилам, чтобы снять вопрос: “кто за кого платит”. На встрече Чич также впервые объяснил Питгарту словацкую концепцию “построенной снизу федерации”, то есть федерации, состоящей из двух национальных государств, объединенных в единое целое (S. 125).

Интересно наблюдение Рыхлика относительно различных подходов к государственно-правовому вопросу ведущих сил нового демократического государства. Так, ОПН как представитель умеренного крыла политического спектра, видела решение этого вопроса в модификации чехословацкой федерации. Хотя словацких либералов, составлявших ядро ОПН, не удовлетворяла существовавшая федерация, однако ее “исправление” они рассматривали как составную часть процесса демократизации. Для подавляющего большинства представителей ГФ проблема изменения федерации не являлась приоритетной. Тем самым, по словам Рыхлика, “чехи за некоторым исключением ставили в иерархии приоритетов государственно-правовую проблематику лишь на третье место после смены политического режима и экономических реформ. И ГФ тем самым – разумеется, неосознанно – копировал действия чешских реформаторов периода 1968 г.” (S. 93).

Представленный в книге анализ расклада политических сил на парламентских выборах 8 и 9 июня 1990 г. свидетельствует: механизм распада страны был запущен уже не вполсилы и не на уровне митинговых призывов. И чем большее демонстрировалось взаимопонимание на встречах чешской и словацкой политических элит в 1990 г. (9 июля в Лугачовице, 8–9 августа в Тренчанске Теплице, 10–11 сентября в Пиештянах, 27 сентября в Кромержиже, 28 октября в Славкове, 5 ноября – в Праге, 10–12 ноября в Модре-Гармонии), тем четче обнаруживалось: противоречия в рамках одного суверенного государства не решить. И это подтвердилось встречей, так сказать, на высшем уровне в Праге между Гавелом и тремя премьер-министрами (федеральным и двумя республиканскими) 12–13 ноября 1990 г.

Акцентируя внимание на перипетиях принятия закона о компетенциях, автор делает вывод о том, что он лишь на время “успокоил” словацко-чешские отношения. “Чешская сторона, – отмечает он, – считала закон максимумом, в то время как для словацкой стороны он превращался лишь в первый шаг на пути к достижению конечной цели – свободного чехо-словацкого союза государств, в котором Словакия могла бы соединить преимущества самостоятельного государства с выгодами государства общего” (S. 167). В то же время, анализируя уже оформившиеся к концу 1990 г. словацкие проекты экономического развития, Рыхлик делает вывод о их несовместимости с существованием единой Чехословакии.

1991 год – время интенсификации переговоров и эскалации взаимонепонимания, может скорее демонстративного, чем реального. Это также время полноценного выхода на сцену ведущих политиков-игроков – словацкого премьера Владимира Мечьяра и чешского Вацлава Клауса. Глубоко проанализирована мотивация их заявлений и действий, усугубляющих распад. При этом одной из стратегических ошибок политиков, искренне стремившихся сохранить единое государство – и в первую очередь президента Гавела – была запоздалость в осознании кризисных ситуаций. Интуиции, присущей первому президенту Чехословакии Т.Г. Масарику, да и мощного внешнего давления тех времен, им не хватало

Первыми прекратили дебаты о судьбе президентства и соответственно единого государства словацкие политики. Но не потому, что они искали выход для обеих его составляющих, а потому что занялись созданием независимой Словакии. Им было сделать это труднее, чем чехам, поскольку многие ведомства находились в Праге.

Остается – вслед за автором – повторить даты событий осени 1992 г. 1 сентября Словацкая республика принимает новую конституцию, которая фактически является конституцией независимого государства. 20 сентября В. Клаус представляет на рассмотрение В. Мечьяру проект закона о разделении федерации и этапы его осуществления. Данные же об опросах общественного мнения, приводимые в монографии, выявляют ситуацию растерянности чехов и словаков.

6 октября 1992 г. о “разводе” договорились ведущие партии, а 8 октября ярким светом в политическом лексиконе заблистало слово “деволюция” – передача полномочий и имущества федеральными властями новым государствам; 13 ноября 1992 г. была

утверждена и соответствующая пропорция: два к одному. Страна уже распалась, но разговоры о том, что не надо было бы этого делать, что надо что-то предпринять, что это расколится с волей населения, не прекращались и в ноябре.

Естественно, весь пересказ событий и их анализ должен сводиться к вопросу: был ли распад Чехословакии неизбежным и когда он стал таковым? Я. Рыхлик дает следующий ответ: до июня 1992 г. возможности разрешить проблему имелись, но силы, заинтересованные в сохранении единого государства, не были сконцентрированы на решении этой задачи. А такие силы были и в Чехии, и в Словакии. Тем более, что руководством последней еще не ставился вопрос о ее международном признании. Да и к мнению В. Гавела в то время прислушались бы охотнее. Но чешская сторона все больше говорила о легалистических процедурах, и за шумом этих разговоров поиск новых интеграционных механизмов как-то замедлился. Они напоминали скорее академические дискуссии.

Я. Рыхлик приходит к выводу: крушение чехословацкой государственности было вызвано не спорами о компетенциях. “Причину, – подчеркивает исследователь, – следует искать в том, что за время существования единого государства не удалось сформировать единое чехословацкое сознание у подавляющего большинства населения в двух частях государства” (S. 334). Хотя и в Словакии, как подчеркивается в книге, многие считали Чехословакию своей родиной, для большинства словаков термин “федеральный” отождествлялся с понятием “чешский”, независимо от состава руководящих органов. Федеральные органы воспринимались как нечто такое, что ограничивает Словакию. Тем самым Чехословакия в конце концов повторила путь Австро-Венгрии,

которой до 1918 г. так и не удалось решить проблему идентичности своего населения (S. 334).

Завершает книгу публикация архивных документов (всего их 30) как чешских (Архив Института Т.Г. Масарика), так и словацких (архивы словацких общественных деятелей). На наш взгляд, картина могла быть более полной, если бы в ряду этих документов фигурировали официальные (и неофициальные) заявления и декларации тех политических сил, которые не только противились ликвидации единого чехословацкого государства, но и вели активную борьбу за его сохранение (в частности, ЧСДП).

Для государств Центральной и Восточной Европы в плане сосуществования в их рамках разных народов 1990-е годы – время разбрасывания камней по воле в первую очередь политиков. Оценки этому будут давать постоянно – события ведь крайне серьезные. Но уже сейчас видно: издержки даже цивилизованного “развода” были все-таки очень большие.

Нам приходилось писать еще в 1993 г.: Западная Европа идет к единению, политики стран Центральной Европы видят в ней образец, следовательно, и этим странам придется объединяться. Зачем же тогда было разъединяться? Пожалуй, события прошедшего десятилетия еще больше подтверждают правомочность такой постановки вопроса.

© 2003 г. Э. Г. Задорожнюк

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Rychlík J. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy. Bratislava. 1997. Díl 1; Bratislava. 1998. Díl 2.*

Славяноведение, № 5

В.В. ПЕТРОВСКИЙ. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации. Харьков, 2002. 264 С.

На “книжной полке” украинистики появилась значительная новинка – монография исследователя из Харькова В.В. Петровского, посвященная новейшей западной историографии российско-украинских отношений. Этот факт примечателен по ряду причин.

Во-первых, исследователей, занимающихся Украиной и шире – Центральной и Восточной Европой, – не может не заинтересовать новейшая научная разработка по этой весьма актуальной теме. Во-вторых, российские специалисты получают возможность ознако-

миться с комплексом исследовательских проблем, представленных как бы в двойном преломлении: видение западных аналитиков в изложении и интерпретации их украинским коллегой.

Следует сразу отметить, что монография В.В. Петровского – не единственное серьезное исследование на Украине, посвященное проблемам взаимодействия со своим “северным соседом”. В последние годы украинское научное сообщество явно стремится опередить российское в попытках осмыслить различные аспекты прошлого, настоящего и будущего российско-украинских отношений в их различных составляющих. Так, в 1999–2001 гг. вышли следующие коллективные монографии: “Украина 2000 и далее: геополитические приоритеты и сценарии развития” (Киев, 1999, на укр. и англ. яз.); “Украина – Россия: проблемы экономического взаимодействия” (Киев, 2000, на укр. яз.); “Украина – Россия: концептуальные основы гуманитарных отношений” (Киев, 2001, на укр. и рус. яз.).

В этом контексте историографические сюжеты воспринимаются как иной, более высокий уровень научного осмысления проблемы.

Учитывая место и тираж издания, можно быть уверенным, что данной книгой, скорее всего, воспользуется небольшое число специалистов (разорванность научно-информационного пространства, увы, продолжает давать о себе знать). В связи с этим стоит более подробно остановиться как на объекте историографического исследования, так и на содержательной части монографии В.В. Петровского. В ней анализируются прежде всего англоязычные работы, изданные на Западе в 1991–2001 гг. Хронологические рамки, определенные автором, до известной степени отражают юбилейный синдром, так как они охватывают десятилетнее развитие Украины в качестве независимого постсоветского государства.

Поставленная автором задача – проанализировать англоязычную литературу, в которой так или иначе затрагиваются проблемы российско-украинских отношений – обрекла его на тяжкий труд, так как значительный интерес западных аналитиков к Украине материализовался в сотни монографий и тысячах статей. На сегодняшний день западная украинистика представлена множеством научных центров и целым рядом громких имен, в первую очередь в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Германия. В таком обилии аналитических материалов позволяет не утонуть лишь

жесткое структурирование историографического исследования и выбор его направлений. Автор сразу же указывает на ограничения, налагаемые на работу, – она построена по проблемно-тематическому принципу, при этом собственно тематика также носит избирательный характер. Предметом анализа избраны работы, затрагивающие военно-политические, международные, национально-культурные и языковые аспекты взаимодействия России и Украины. Соответственно, монография состоит из трех центральных глав: “Военно-политическая составляющая контактов между Украиной и Россией”, “Геополитическое измерение украинско-российских отношений”, “Проблемы развития национальных отношений русского и украинского народов”. Кроме того, первая, постановочная глава посвящена историографическим и методологическим аспектам проблемы, а последняя – анализу футурологических моделей западных политологов. В.В. Петровский указывает, что не случайно ограничился избранными сюжетами, ибо именно они привлекали наибольшее внимание западных исследователей. Правда, немалый интерес вызывали также политико-экономические и исторические аспекты украинско-российских отношений, но, по мнению автора, они требуют отдельного изучения.

Работу В.В. Петровского отличает научная корректность и профессиональная добротность. Автор свободно владеет историографическим жанром, использует различные методы и принципы историографического анализа. Во вводной главе, в частности, обращает на себя внимание раздел, посвященный современному состоянию советологии и славистики. В нем автор останавливается на существенных моментах кризиса советологии и ее последующей трансформации в так называемую транзитологию и постсоветологию, в рамках которых и занимает свое место украиноведческое направление.

Представляя внушительный перечень работ, написанных сотнями людей в десятках научных центров Запада, автор отмечает: процесс развития и институциализации западной украинистики еще только начинается. Ряд западных исследователей не удовлетворен уровнем собственных знаний об Украине. Впрочем, со стороны Запада слышна критика (надо заметить, справедливая) и российского научного сообщества, мало интересующегося Украиной, в отличие, например, от Польши, где с начала 1990-х годов в десяти университетах предлагались программы украиноведческой тематики (С. 41).

Исходя из сочетания научных и политических критериев, автор выделяет три историографических периода:

1. Конец 1980-х – начало 1990-х годов, когда Украина в качестве независимого государства только начинала свое вхождение “в мировое политическое и интеллектуальное пространство”;

2. Середина 1990-х годов – период изменения политики мировых государств-лидеров в отношении Украины к лучшему и более глубокого изучения украинской тематики;

3. Вторая половина 1990-х годов – изменение политики Запада, вызванное разочарованием Украиной, а также дальнейшее развитие западного украиноведения.

Такая периодизация в целом представляется справедливой. Добавлю только, что в различные периоды в центре внимания оказывались разные темы.

В первой половине 1990-х годов для североамериканских и западноевропейских исследователей актуальными были вопросы распада СССР и провозглашения Украиной независимости, затем на первый план выдвинулась проблема ядерной политики Украины, позже – украинских аспектов европейской безопасности.

С середины 1990-х годов на Западе нашла признание идея о важности российско-украинских отношений как фактора будущей политики в Евроазиатском регионе.

Вторая половина 1990-х годов отмечена повышением интереса к внутривнутриполитическим процессам, особенно связанным с избирательными кампаниями 1994, 1998 и 1999 годов, а также к проблемам защиты прав человека, свободы слова, коррупции. На Украине разворачивают деятельность зарубежные фонды и организации, которые инициируя исследования по определенным направлениям, вводят широкую практику финансирования исследовательских работ местных специалистов.

Автор не позволяет себе впасть в искушение излагать собственные представления о проблемах украинско-российских отношений, его задача – дать слово зарубежным авторам, привести различные точки зрения, создать полифонию мнений. И это ему удастся. Проблемно-хронологический подход, примененный при рассмотрении западных работ, позволил выявить эволюцию взглядов и настроений исследователей. Видно, что беспокойство и самые серьезные опасения относительно последствий распада “советской империи”, испытывавшиеся в начале 1990-х годов, сменились более спокойными выводами и прогнозами. А то, что

всплеск интереса к постсоветским государствам был в значительной мере вызван тем, что Запад видел в них угрозу международной безопасности и источник нестабильности, не вызывает сомнений. Не случайно значительные группы исследователей сосредоточились на проблемах создания вооруженных сил, ядерного разоружения Украины, а также на вопросах Крыма и Черноморского Флота. В целом В.В. Петровский полагает, что наблюдения, выводы и рекомендации западных аналитиков по поводу военно-политических отношений Украины и России за последние десять лет отличаются объективностью и богатством фактического материала. Хотелось бы дополнить данный вывод замечаниями, которые напрашиваются при внимательном прочтении соответствующей главы.

Так, при анализе социально-политической ситуации на Украине и характера украинско-российских отношений многие западные аналитики исходили из негативных сценариев их развития, вплоть до вооруженного столкновения двух государств, однако это алармистское направление в прогностическом смысле оказалось непродуктивным – самые худшие опасения, к счастью, не оправдались. Далее, самым главным итогом и, соответственно, выводом относительно десятилетнего развития Украины стало то, что она уже не представляет угрозы внешнему миру. При этом западные аналитики не скрывают – предсказуемость и управляемость внутренней и внешней политики обусловлены в немалой степени экономической и военной слабостью теперь уже безъядерной страны. Хотя, по утверждению некоторых из них, экономические и военные проблемы Украины на протяжении ближайших лет будут беспокоить Европу (С. 56). Высокий количественный уровень вооруженных сил, обременяющий ресурсы государства, ослабленные оборонительные возможности, не реформированный ВПК – такие характеристики даются обоим государствам. От внимания и детального анализа западных ученых не скрылось также то обстоятельство, что Россия и Украина проводят политику военного соперничества, особенно на рынке вооружений.

Заслуживают внимания такие приведенные В.В. Петровским выводы западных коллег о современном состоянии украинско-российских отношений в военно-политической сфере как: военно-политические и военно-технические вопросы и противоречия не носят взрывоопасного характера; для Украины остается актуальным усиление

ние российского фактора в Крыму (на фоне его интенсивной “татаризации”); Россия, стремясь восстановить статус могущественного морского государства, не откажется от севастопольских бухт и, таким образом, на повестке дня оказывается сближение позиций Украины и России по сотрудничеству (или сближению) флотов.

Глава, посвященная историографии геополитических аспектов украинско-российских отношений, показывает, как непросто было реагировать западному научному сообществу на динамичные изменения международной ситуации в Центрально-Восточной Европе (ЦВЕ). Автор отмечает, что в изучении политического треугольника Украина – Россия – Центральная Европа сталкиваются противоречивые взгляды. Однако к базисным В.В. Петровский относит вывод о том, что, по мнению большинства западных политологов, дальнейшее существование Украины в качестве независимого государства жизненно важно для Центрально-Восточной Европы и что без Украины ЦВЕ не сможет обрести полноценное политическое содержание (С. 101).

Анализ В.В. Петровским работ, особенно появившихся в последнее время, убеждает в том, что западной политологической мысли в основном присущ трезвый взгляд на социально-политические процессы и что аналитикам приходится считаться со складывающимися геополитическим реалиями. В числе важных следует упомянуть несколько выводов:

- Запад фактически признал территорию СНГ зоной стратегических интересов России, но при этом не соглашается с невыгодным для себя “тотальным” российским влиянием на Украину и усиливает к последней свое внимание;

- сама Украина, имея нестабильную экономику и энергетическую зависимость от России, вынуждена маневрировать между евроатлантическими структурами и Россией (которая оценивается рядом аналитиков как набирающая силу страна) (С. 102);

- европейская система безопасности не исключает участия в ней России, но и не включает ее, так как процесс движения “двух Европ” навстречу друг другу неравномерен (С. 104);

- наиболее приемлемой для Украины выглядит политика нейтралитета, сохранение взвешенных отношений с Востоком и Западом, не исключая военно-технического сотрудничества (С. 115).

Правда, как известно, на Западе существуют и более радикальные взгляды на роль

Украины в геополитическом раскладе сил. И автор приводит их. Так, широкое хождение имеет взгляд на Украину как на полезный инструмент в отношениях с Россией, как на буфер или стратегический барьер между Россией и Западом, и “если он исчезнет, то НАТО придется пересматривать свои оборонительные планы” (С. 113).

К числу умозаключений, к которым присоединяется значительное число западных исследователей, относится то, что реальным выбором Украины остается модель баланса интересов, предусматривающая как курс сближения с евроатлантическими структурами, так и расширение партнерских связей с Россией (С. 132).

Отдельного внимания заслуживает глава, посвященная футурологическим моделям западных политологов. Ссылаясь на мнение английского эксперта А. Ливена, автор упоминает две основные научные школы, влияющие на характер прогнозов относительно будущего России, Украины и остальных стран СНГ. Первая из них трактует Россию как “ненормальную” страну с постоянно исходящей от нее угрозой и отличающуюся имперскими наклонностями. Причем внутри этой школы А. Ливен выделил параноидально-русифобское направление, влиятельными представителями которого выступают З. Бжезинский, П. Гоубл, А. Коуэн, Р. Пайпс. Не составляет труда вообразить себе характер прогнозов, сделанных как этими авторами, так и их единомышленниками. Тем более что мнение многих из них (особенно З. Бжезинского) хорошо известно российским исследователям.

Другая школа исходит из того, что Россия находится на правильном пути и способна превратиться в “нормальное” государство (С. 185). Думается, что в действительности (и это видно по тем материалам, которые представлены в монографии) таких, условно говоря, школ больше: между представителями параноидальной русифобии и относительной толерантности к России находятся носители жесткой и умеренной позиций, а также “нейтралы”.

Приводя различные, иногда противоположные точки зрения относительно будущего Украины и России, а также анализируя достоверность ряда прогнозов, сделанных еще в начале – середине 1990-х годов, автор приходит к осторожному выводу: говорить о том, что современные западные исследователи являются более удачливыми предсказателями, чем их бывшие коллеги-советологи, пока преждевременно. Многие

из прогнозов оказались несостоятельными. Другим еще предстоит проверка жизнью.

Таким образом, в работе В.В. Петровского предложен корректный анализ западной историографии на заявленную тему. Кроме того, и это следует отметить особо, объем привлеченной литературы позволяет говорить, используя социологическую терминологию, о высокой репрезентативности выборки. Единицами анализа стали не отдельные, попавшиеся на глаза автору работы, а весьма существенная часть изданных трудов.

Автору явно удался раздел, посвященный описанию научных центров, учреждений, кадров западной украинистики. Вместе с тем в изложении концептуальных особенностей различных направлений и школ наличествует некоторая аморфность в аспекте систематизации материала. Сразу заметим, что в настоящий момент, когда в науке, в том числе и западной, присутствует эклектизм, методологический плюрализм и междисциплинарные заимствования, сделать это не так-то просто. За одним исследователем “столом” сидят правые и левые, радикалы и умеренные, славянофобы и славянофилы, компаративисты старого и нового поколения и т.д. Тем не менее известно, что в настоящее время в рамках политических наук значительное число исследований ведется с позиций направления, называемого новым институционализмом. Отличительной чертой этого направления, имеющей значение для темы рецензируемой монографии, является большая концентрация внимания на реальном поведении институтов (правительство, партий и пр.) и отдельных личностей, чем на их формальных, институционально и структурно предписанных аспектах деятельности, а также на результатах политического процесса не только в широком, но и в детальном смысле этого слова. Признано, что к одному из достоинств нового институционализма относится его относительно сильные компаративистские позиции. Действительно, работа В.В. Петровского показывает, что проблема украинско-российских отношений по сути дела решается в рамках компаративности.

Современные политологические исследования отличают также глобалистские ориентации, включение стран бывшего социалистического лагеря с недемократическими политическими режимами в мировой контекст, подразумевающее их изучение не только на фоне высокоразвитых стран с давними демократическими традициями, но и государств с “примитивными” формами политических систем. Еще одна важная черта, проявившаяся, в частности, и во многих ра-

ботах, представленных в монографии В.В. Петровского, состоит в изменении объекта исследования и, соответственно, научного языка. Так, современный классик в области политической науки Г. Алмонд указывал на переосмысление роли формальных политических институтов и фактический отказ от рассмотрения государства как центрального объекта исследования в пользу таких явлений и понятий как “политический режим”, “политическая система” с акцентом на изучении системы неформальных, теневых, внеправовых отношений и социальных институтов как на одну из особенностей современных политических исследований. Все это, кстати, наглядно демонстрируют работы, попавшие в сферу внимания В.В. Петровского.

Таким образом, на Западе современная восточная славистика развивается во взаимодействии двух встречных потоков. Один из них – это общие тенденции, свойственные нынешнему уровню развития исторических и политических наук, другой – те импульсы, которые постсоветские общества своими трансформационными процессами посылают исследователям и которые задают определенную тематику и направление исследований. Так, появление целой группы новых независимых государств вызвало всплеск интереса к проблемам демократизации, становления политических институтов, к поиску общих тенденций и формулированию прогнозов. Ныне западным научным сообществом признается, что опыт и научные изыскания специалистов и экспертов по “второму” миру изобавились от налета провинциализма и вторичности и стали сопоставимы с достижениями политических наук в целом. При этом все-таки значительное число исследователей до сих пор не избавилось от подозрительности и осторожности в отношении объектов своих размышлений – новым восточноевропейским режимам и их лидерам.

Прочтение книги В.В. Петровского вызывает немало раздумий, вопросов к автору и пожелания дополнить выводы положениями теоретико-методологического характера. И это понятно, ибо предмет исследования отличается высокой степенью научной сложности и политической актуальности. Тем не менее монография В.В. Петровского вводит в научный оборот объемную, достаточно подробную и в немалой степени концептуально осмысленную информацию, обогащающую знания не только просто интересующихся этим кругом проблем, но и гораздо более искушенных “узких” специалистов.

И.И. СВИРИДА. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки. М., 1999. 360 С.

Понятие пространства в книге многолико. Помимо культурного пространства, создаваемого деятельностью мастеров, творцов, это также пространство ментальное. Последнее обладает особыми свойствами, “делая близкое далеким, большое малым, чужое своим и обратно” (С. 267). В еще большей степени, чем реальное, оно может быть враждебным или дружественным для тех, в чьем сознании существует.

Но начать обзор книги все же представляется правильным с пространства зримого, тяготеющего к обозначенным в ее заглавии точкам: Варшава – Вильно – Петербург. В реальном пространстве они не образуют треугольника, находясь почти на одной прямой: за считанные дни до восстания 1863 г., которым хронологически заканчивается монография, их соединила железная дорога, существенно сократившая физические расстояния. Можно, следовательно, говорить о линии, по которой осуществлялось перемещение людей, идей, произведений искусства, что является лейтмотивом очерков И.И. Свириды.

Исследуемое в книге пространство предстает читателю одновременно фрагментом пространства общеевропейского, российского и Речи Посполитой, объединяющее начало которой обнаруживало себя многие десятилетия после ее разделов в 70–90-х годах XVIII в. Впрочем, и в канун разделов Польско-Литовского государства в художественном отношении Петербург и Варшава вовсе не принадлежали двум взаимно чуждым мирам. В XVIII в. обе державы воспринимаются в Европе как Север и включены в маршрут “северного тура”, популярного у тогдашних западных путешественников.

Разумеется, геополитический катаклизм не остался без многоликих последствий. Быстро провинциализируется попавшая под власть Пруссии Варшава, из которой начинается исход художников: так в Вильно, а оттуда в Петербург попадает будущий глава виленской живописной школы Ф. Смуглевич. Еще треть века спустя с закрытием Варшавского и Виленского университетов, которых впоследствии будет крайне не хватать густонаселенным регионам [1], наносится очередной сильнейший удар по инфраструктуре

культуры. Победителями вывозятся культурные ценности.

Главной ареной, на которой вершится культуротворческий процесс, делается столица на Неве. Выбор Вильно и Варшавы в книге также вполне обоснован. В пределах Российской империи именно историческая Литва – не Центральная Польша и не Украина – выступала признанной хранительницей польских традиций (не исключая, между прочим, языковых). В этом регионе время как бы замедляло свой бег, бережно сохраняя культурную архаику. Локомотивом как политических, так и многих культурных перемен выступала Варшава – не только по отношению к Вильно, но и по отношению к Кракову.

Стремясь максимально полно реконструировать ткань художественных контактов, И.И. Свирида следует за своими героями в Рим (встрече польских и русских художников в Вечном городе посвящена особая глава). Немногочисленные польские мастера в Италии – выходцы из разных частей Речи Посполитой – образуют единое землячество, тогда как в российских университетах короняже (уроженцы Царства Польского) и литвины (выходцы из исторической Литвы) часто держались особняком. Этим региональным особенностям уделяет повышенное внимание современная белорусская, литовская, украинская наука (см., например, [2]).

С точки зрения хронологического охвата читатель получил ретроспективу весьма широкую, ведущую его от позднего барокко через классицизм и сентиментализм к романтизму и реализму. В показе динамики стилей автору чужды схемы. Различаются такие переходные формы художественного постижения мира, как классицизирующее барокко или романтизирующий классицизм. В общем русле интереса романтиков к барочному искусству отмечается возвращение в живописную практику сарматского портрета. В этой связи И.И. Свиридой используется более адекватный термин “бидермейеровский сарматизм” (С. 190).

И эпоха рубежа XVIII-XIX ст., и регион отмечены выраженным переходным характером. Достаточно обратиться к картине

Ж. Норблина “Станислав Август в Кадетском корпусе” (С. 56) или вспомнить сценографию оперы “Страшный двор” С. Моношки на исторический сюжет, демонстрирующие причудливое смешение европейского облика с традиционными, характерными для “сарматского” Востока одеяниями, немислимыми в русском дворянском обществе после Петра Великого. В книге отмечается, что именно польское, а не русское искусство раньше обратилось к изображению Востока.

Европейцы и “сарматы” будут соседствовать в польском искусстве и много позднее, например в творчестве В. Ваньковича, характеризуемом в специальной главе. В архетипическом “Портрете старика” его соотечественники увидели мицкевичевского Соплицу – образ, но без участия глашатая польского мессианизма А. Товьянского, оказался востребованным и тиражировался в гравюрах. Одновременно, также с учетом конъюнктуры спроса, картины польских художников посылались в Париж, дабы подвергнуть их “элегантному искажению” в духе времени (С. 237).

В центре внимания автора – работавшие в различных техниках и жанрах художники и их произведения, а, кроме того, скульпторы и архитекторы, парковое искусство. Имеются экскурсии в историю книги, театра, музыки и, конечно же, литературы. И шире – перед читателем предстает история повседневности, но повседневности преимущественно элитарной, отзывчивой на требования капризной, часто вычурной моды. Законодателями выступают августейшие особы, представители высшей аристократии, просвещенные вельможи. Тон задают монархи – Станислав Август, впервые введенный И.И. Свиридой в контекст художественных связей, и, как неожиданно для многих показано, тонкий ценитель искусства сначала наследник престола, а затем его недолговечный обладатель Павел Петрович (о последнем польском короле и художественном убранстве Михайловского замка Павла I – отдельные главы).

И.И. Свиридой анализируется особый род исторической информации – *художественные впечатления*. Среди лиц, которым они принадлежали, быть может, самой приятательной получилась фигура космополитического принца Ш.Ж. де Линя – ценителя и советчика (о нем также специальная глава). Многие из подобных свидетельств – подлинные памятники эстетической мысли.

Если в художественных впечатлениях поляков начала XVIII в. отразилась Россия европеизирующаяся, то на рубеже 1750–

1760-х годов, по их откликам, она уже превратилась в один из центров европейской культуры (С. 21). Сглаживались стилевые отличия в культуре православного и католического ареалов. Если не Европа в целом, то европейские элиты становились все более едиными – изъясняясь по-французски, отдавая дань просветительским идеям, ориентируясь на общие поведенческие нормы, отвечая на одни и те же вызовы моды. Складыванию “нового геокультурного пространства” способствовало “движение мастеров и картин”.

Сложность избранного И.И. Свиридой предмета и многообразие его ракурсов определили жанр книги. По замыслу автора, это не столько искусствоведческое, сколько *социокультурное* исследование. Художники рассматриваются в нем как профессиональная группа интеллигенции, раньше, чем литераторы, начавшая зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Группа эта внутренне неоднородна: в ее рядах и баловни публики (А. Орловский, В. Ванькович, Я. Каневский), и бедные художники, чьим уделом являлась мансарда. Извлеченная автором из архивов переписка отца и сына Русецких прекрасно иллюстрирует каждодневную борьбу за выживание. По сути речь идет о таком феномене переходного периода от сословного общества к социуму нового типа, как (воспользуемся термином Е. Едлицкого) перепроизводство интеллигенции, усугубляемое в польском случае отсутствием национальной государственности.

Постепенно, однако, приходит понимание того, что ни государственный патронаж, ни меценатство отдельных нотаблей не в состоянии обеспечить условий для развития искусства: необходимо новое отношение к нему со стороны более широких слоев общества. И такое отношение, как показано в книге, действительно формируется. В условиях затяжного национального противостояния поддержание людей искусства из числа соотечественников получало дополнительную патриотическую мотивацию, становясь частью “органической работы” – этой своеобразной этики польского образованного общества после восстания 1830–1831 гг.

Помимо дворцов и салонов, И.И. Свирида заглядывает в мир провинциальной живописи, где зачастую стиралась грань между профессионалом и дилетантом, складывалась благодатная почва для заимствований из стихии народного творчества, для примитива, еще не пришедшего (или не вернувшегося) в высокое искусство [3]. Провинциаль-

ное искусство дает немного шансов открыть новые звезды, но для постижения культурного процесса, социологии искусства, прошлого художественной жизни оно представляет огромный интерес.

Провинциальные художники не столько заняты созданием оригинальных произведений, сколько частными уроками, копированием, изготовлением образочков, росписью храмов и даже раскрашиванием первых, еще очень несовершенных, фотографий, появившихся в середине XIX в. В книге отмечается “аграризация” художественной интеллигенции в провинции, характерная, впрочем, для значительного слоя шляхетского сословия. Близость к народу способствует восприятию элементов низовой культуры, обращению к сюжетам из быта простолюдинов. Глядя на “Жницу” К. Русецкого (С. 242), трудно не вспомнить круг А.Г. Венецианова. Однако смирение провинциальных художников соседствует подчас с мучительными метаниями, вызванными ощущением связи как со своей профессиональной группой, так и с большой исторической традицией. С расчетом на более широкую аудиторию, но в тесном взаимодействии с высокой культурой развиваются гравирование и литографирование.

Автор признает, что русско-польские художественные контакты не определяли магистральных путей развития национального искусства. Тем не менее связи и взаимовлияния исключительно важны для понимания глубинных процессов художественной жизни, не в последнюю очередь ввиду несовпадения ее ритмов в России и в Польше. Если Д.В. Сарабьянов в своей классической работе показал параллелизм и асинхронность на примере русской и западноевропейской живописи [4], то заслугой И.И. Свириды являются наблюдения, сделанные на русско-польском материале.

Основное предпочтение в книге отдается эпохе романтизма, акцент на котором в исследованиях по истории польской культуры особенно правомерен. К тому же именно тогда русско-польские художественные связи становятся прямыми и многообразными. Новое открытие польской культуры русским обществом происходит на волне романтизма, культура импровизатора, “ночной” образ которого (“Египетские ночи” А.С. Пушкина, “Русские ночи” В.Ф. Одоевского) находил самый сочувственный отклик в рассматриваемую эпоху. Импровизация как публичный, иногда соревновательный, творческий акт, воплощенный в поэтическом экспромте и беглом рисунке-

наброске в альбом, эпиграмме и шарже, - в этом во многом секрет успеха А. Мицкевича среди русских, что нашло отражение в его портретах кисти В. Ваньковича. В этом же подлинная стихия художественного дара А. Орловского, о котором в книге большая глава. В польской культуре, в том числе изобразительном искусстве, как известно, романтизм продолжал господствовать и в пору, когда для русской культуры он был уже пройденным этапом. Говоря о асинхронности, можно сослаться и на более поздний пример - как по-разному прочитывалось в контексте истории русского и польского искусства творчество крупнейшего представителя академизма Г. Семирадского.

Ситуация усложнялась присутствием в рассматриваемых И.И. Свиридой культурных центрах многочисленных западноевропейских мастеров. Особенно велика роль иностранцев в XVIII в., когда при неразвитости прямых польско-русских художественных связей они выступали в роли посредников. Художники-иностранцы, как кажется, легче входили в польскую среду, дав “вполне польских” Ж. Норблина и М. Баччарелли. Английский гравер Д. Саундерс (о нем в монографии отдельная и обширная глава) - пример того, как иностранец, к тому же сперва соприкоснувшийся с Восточной Европой в Петербурге, проникся духом Литвы.

Погружались в иную культуру и поляки. “Орловский первым изобразил русский пейзаж под дождем, ... он первым посвятил внимание мотиву русской зимы”, - отмечает И.И. Свирида (С. 157). Вместе с тем признается известная отстраненность Орловского в изображении русских типажей. Перербравшись в Петербург, художник творил в полной изоляции как от польской действительности, так и от современного ему польского искусства. При этом затруднительно говорить также о влиянии на него русской живописи. Это, впрочем, не мешало академику, не участвовавшему в жизни Академии художеств, оказывать ощутимое влияние на русское и польское изобразительное искусство. На примере И. Щедровского показано, как, в отличие от Орловского, отождествив себя с русской средой, мастер в своем творчестве все же сохранял печать породившей его художественной школы.

И.И. Свирида делает ценные наблюдения о том, как один и тот же художник, творя в Варшаве, Петербурге или на бывших восточных землях Речи Посполитой, обнаруживал не только вполне понятное тяготение к разным сюжетам, но и существенно

менял самую манеру письма. Даже выполненные художником копии собственных картин для разных заказчиков имели значительные и часто легко прочитываемые расхождения. Тем более несхожими получались написанные русским и поляком одинаковые сюжеты или модели.

В условиях борьбы за независимость в польском искусстве “значимость мастера часто определяется прежде всего общественно-национальной ролью, а не собственно художественно-эстетическим уровнем творчества” (С. 253). Примером может служить известнейшая “Присяга Костюшко” Ф. Смуглевича. “Бесполезной славой” считался в польском обществе успех соотечественников в России (С. 257). Знаменательно, что именно историко-патриотической темой Я. Матейко сделал польское изобразительное искусство известным Европе. Свою роль сыграли и профессиональные критики, преуспевшие в деле идеологизации искусства и мобилизации общественного мнения, под диктат которого попадали и художники, и заказчики.

Не подлежит сомнению, что как *libero conspicio* в сфере политического поведения, так и гегемония патриотической темы в искусстве способствовали выживанию нации. И все же, как показано в книге, фактом является то, что, помимо национального пантеона, польская кисть писала А.В. Суворова, Н.Н. Новосильцева и И.Ф. Паскевича. Интересны сведения о поисках Николаем I баталиста, способного увековечить победы русского оружия – такого мастера не нашлось тогда среди русских, и им стал поляк Я. Суходольский. Мстительный самодержец готов был простить художнику даже активное участие в восстании 1830–1831 гг. (С. 253–255).

Факт и то, что вследствие ложно понятой общественной задачи историками (и историками искусства в их числе) утрачено немало имен и произведений, а в то же время некоторые фигуры сделали предметом тяжбы сразу нескольких культур. И.И. Свирида возвращает многие забытые страницы из прошлого художественной жизни и вполне взвешенно подходит к решению вопроса о национальности творчества на культурном пограничье. “Официозные произведения, – справедливо заключает она, – не значит плохие” (С. 271).

С польской темой в русском искусстве связана проблема *полонофильства и полонофобии* русских. Цитируя слова 1823 г. О.А. Кипренского “русские с поляками за руку держатся”, автор комментирует их

следующим образом: “В то время подобную фразу, которая еще не стала общим местом, можно было услышать скорее всего из уст будущих декабристов” (С. 199). Между тем, с одной стороны, 1820-е годы дали много образцов полонофильства [5], а с другой – в декабристской среде поляки могли вызывать, мягко говоря, далекие от приязни чувства.

И.И. Свирида ставит целый ряд вопросов по поводу картины Кипренского, на которой изображена группа молодых людей, читающих французскую газету с сообщением о восстании 1831 г. на фоне излюбленного русскими художниками того времени вида – Неаполитанского залива с Везувием (полотно экспонируется в Государственной Третьяковской галерее). Кто они, русские или поляки? О каком моменте восстания повествуют газетные реплики? Какого рода ожидания выражают, по замыслу художника, их лица? И.И. Свиридой определяется жанровая специфика картины, находящейся на грани группового портрета и отклика художника (примечательно в русском искусстве) на современное ему событие политической жизни.

Как отмечает автор монографии, в том, что изображенные на картине персонажи именовались современниками художника и “русскими путешественниками”, и “поляками”, неразрешимого противоречия нет – русскими тогда могли называть, имея в виду подданство, также поляков. Что же касается отношения русского общества к первому польскому восстанию, то оно было далеко не однозначным. «Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствия или слава отечества не отзывается в ее сердце, – сетовал Пушкин в черновом варианте своего “Путешествия из Москвы в Петербург”. – Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушно-го читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах» [6. С. 439]. Это те же самые газеты, что на картине Кипренского. Последнюю лицезрел император Николай I, и она как будто не вызвала у него замечаний по части благонадежности.

Гораздо большее внимание монарх уделил картине Г.Г. Чернецова “Парад на Царицыном Лугу 6 октября 1831 года” (ныне в Государственном Русском музее). Названное произведение, о котором И.И. Свирида упоминает лишь мимоходом, заслуживает самого пристального внимания исследователей истории русско-польских отношений. На законченном в 1837 г. полотне изобра-

жены не столько марширующие роты, сколько собравшиеся по случаю парада известные люди своего времени – числом более двухсот. Парад проводился в ознаменование победы над бунтовщиками, когда Варшава была взята и основные повстанческие формирования прекратили сопротивление.

В процессе работы художника над полотном Николай I выразил недовольство по поводу того, что “зрители все отвернулись от главной сцены”. “Если бы зрители смотрели на главное действие, то мне видны были бы одни затылки”, – парировал Чернецов [7. Л. 149], и венченокный искусствовед был вынужден удовлетвориться таким объяснением. Едва ли мастер, столкнувшись с труднейшими задачами художественной трактовки заказанного ему сюжета, задавался целью психологической проработки образов. И все же, смотря на картину, трудно избавиться от мысли, что представители русской элиты растеряны, мрачны или безучастны, во всяком случае, никак не радостны по случаю победной церемонии. А ведь на переднем плане В.А. Жуковский и А.С. Пушкин – авторы патриотических (“шинельных”, согласно едкой оценке П.А. Вяземского [8. С. 151–156]) стихов о русско-польском противоборстве, рядом с И.А. Крыловым, Н.И. Гнедичем и Н.И. Гречем, отсутствующим на известном этюде 1832 г. с группой писателей, который использован художником в многофигурной композиции “Парада”.

Не подтверждается впечатление об атмосфере картины и фактами биографии, а также свидетельствами самого Г.Г. Чернецова. Художник имел репутацию патриота и получил звание академика за полотно, изображающее Военную галерею Зимнего дворца – живописный пантеон героев 1812 г., с которым так переключался 1831 г. в русской поэзии. (Вновь мы можем убедиться в том, что художественные впечатления формировались не без участия национальных чувств: в восприятии поляка собранные вместе портреты из галереи вызвали ассоциацию с жандармским эскадром (С. 184)).

Из дневниковых записей Чернецова следует, что он питал неприязнь к “иностранным лицам”, даже если обладатели нерусских фамилий являлись “нашими подданными”, в представлении художника, “они точно и есть чужие” [7. Л. 149 об]. Таким настроением немало способствовало соперничество на сугубо профессиональном поприще (см. статьи Г.Н. Голдовского в каталоге выставки работ братьев Чернецовых [9]). За печатный негативный отзыв о “Па-

раде” Чернецов в своем дневнике назвал О. Сенковского “безмозглым поляком” [7. Л. 163], воспроизведя тем самым достаточно расхожую оценку повстанцев в русском обществе того времени.

За художника вступился другой рецензент, подписавший под своей заметкой в “Русском инвалиде” как “Любитель-Патриот”. Он призывал защитить Чернецова “от неблагоприятных толков чужеземцев, недоброжелательных ко всему чисто русскому”. “Любитель-Патриот” выразил желание расширить на полотне представительство литераторов, назвав имена Вяземского, Погодина, Шевырева, Языкова, Кукольника [10]. Дело в том, что “Парад” был впервые выставлен на всеобщее обозрение в несколько незавершенном виде и затем дописывался, так что художник действительно мог воспользоваться рекомендациями критиков.

Острая критика Вяземским правительства и русского общественного мнения в связи с восстанием сделалась публичным достоянием гораздо позднее – уже после того как он успел коренным образом изменить свою точку зрения. Достаточно хорошо документированная позиция М.П. Погодина по польскому вопросу также не оставалась неизменной [11]. Полуполяк-полусловак по происхождению Н.В. Кукольник имел прямое отношение к первой демонстрации картины, поместив в своей “Художественной газете” перечень запечатленных на ней лиц. Осенью 1831 г. только что приехавший в Петербург Кукольник еще не получил известности, которая к нему пришла лишь в период работы Чернецова над полотном, прежде всего благодаря трагедии “Рука Всевышнего Отечество спасла”, правленной самим императором. На картине представлен также поэт и генерал Д.В. Давыдов, оставивший воспоминания о польской кампании.

Остается добавить, что “Парад” писался в Зимнем дворце под бдительным присмотром часто посещавшего мастерскую императора и высших сановников. Портретируемые приглашались на сеансы через начальника III Отделения и министра двора. Картину Николай I на выставке хвалил, впоследствии она была приобретена им в качестве подарка наследнику престола.

Особым периодом русского полонфильства можно считать “прекрасное начало” царствования Александра II; 1856–1861 годы, пришедшиеся на генерал-губернаторство В.И. Назимова, составили целую эпоху в общественной жизни Вильно. Готовя почву для крестьянской реформы, Назимов от-

крыто апеллировал к традициям Т. Костюшко. Помещичье общество Северо-Западного края дружно съехалось тогда в его административный центр, что не могло не сказаться на интенсивности художественной жизни в городе [12].

Тема художника и власти проходит пунктиром через всю книгу И.И. Свириды. Даже А. Орловский, всем своим поведением демонстрировавший независимость суверенного, самодостаточного творца, состоял на службе у великого князя Константина Павловича и более четверти века прожил в великокняжеском дворце по соседству с Зимним. Все это укрепляет в убеждении, что политика не только служит одним из контекстов искусства, но теснейшим, порой самым причудливым образом переплетается с ним.

Поистине, “любите живопись, поэты!” И.И. Свирида, разумеется, останавливается на взаимодействии изобразительного искусства и литературы. Искусствоведческий анализ автора позволяет выявить те элементы, которые тогдашняя живопись с имевшимися в ее арсенале средствами изобразить была не в состоянии. Речь идет прежде всего о литературных сюжетах и образах, навеянных проникнутой эзотерикой и символизмом историсофией мессианизма. Возможно, ближе других к решению данной проблемы был на рубеже 1850–1860-х годов Т. Квятковский – автор “Полонеза Шопена”, производившего большое впечатление на современников. Польские танцы, как специально подчеркивается И.И. Свиридой, были очень популярны в России, настолько популярны, добавим мы, что присутствовали на балах и сцене даже в периоды восстаний – точно так же не могло высшее общество обойтись без французского языка во время всплеска галлофобии в эпоху Наполеоновских войн.

В книге собраны интересные сведения о том, как трепетно относились Г.Р. Державин и Ю.У. Немцевич к иллюстрированию своих сочинений. Показано взаимодействие литераторов, живописцев, книжных иллюстраторов и граверов – даже последние при копировании оригинала, оказывается, обладали большой степенью свободы в его трактовке. Особо следует отметить данные, сообщаемые о забытом иллюстраторе Державина Д. Саундерсе.

Сама книга И.И. Свириды богато и, что немаловажно, качественно, с полиграфической точки зрения, иллюстрирована, но читателю непременно захочется развернуть видеоряд еще более широкий: ведь любое, даже самое тщательное, словесное описание произведения изобразительного искус-

ства не может заменить визуального знакомства с ним.

Выполненному в очерковой манере исследованию присуща мозаичность, калейдоскопичность, иногда нелегкие для чтения, но, видимо, неизбежные. Следует подчеркнуть, что русско-польским художественным контактам, в отличие, скажем, от общественно-политических, литературных или научных связей, уделено гораздо меньше внимания. В данной области еще необходимы сбор и систематизация фактов, в чем неоспорима заслуга автора книги. Вместе с тем ряд очерков носит обзорный характер и содержит важные обобщения о художественной жизни трех городов. Такие книги не пишутся вдруг: они всегда являются результатом многолетнего труда, вознаграждаемого счастливыми находками и гипотезами.

Их в монографии множество. Это и атрибуция произведений, важная, в частности, для иконографии деятелей нескольких эпох, и реконструкция судеб предметов искусства, и характеристика нюансов отношений между мастерами и заказчиками. Чего стоит одно изображение Константина Павловича в костюме костюшковского повстанца, выполненное для польки – предмета нежных чувств великого князя – задолго до его знакомства с Иоанной Грудзинской. Или повествование о том, как Мнишки переписывали недостаточно “политкорректные” старинные картины из своих фамильных собраний, ожидая приезда представителей российского императорского дома. Или “потемкинские деревни”, поставленные И.И. Свиридой в один ряд с характернейшими для паркового искусства “галантного века” обманками. (Надо сказать, что тема “потемкинских деревень” сейчас весьма популярна в культурологии [13].) Читатель узнает о вкусах и пристрастиях известных исторических персон. Автор не отказывает себе в удовольствии подробнейшим образом описать гардероб и вещи, следовавшие в Петербург вместе с экс-королем Станиславом Августом, а также плененными Костюшко и бывшим мастеровым, большим франтом Я. Килиньским. Человеческое измерение, антропологическое прочтение культуры – неизменная черта авторского подхода.

В заключение обзора монографии о пространстве культуры хотелось бы заметить, что она важна для познания истории Российской империи – огромного здания, механически разгородить которое на “национальные квартиры” значит потерять из виду живое целое. Это все более понимают

исследователи социально-политических процессов. Это же понимание демонстрирует нам на уникальном культурно-художественном материале рецензируемый труд, который, будем надеется, многих вдохновит на продолжение работы в русле концептуальных подходов и исследовательских приемов его автора.

© 2003 г. Л.Е. Горизонтов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Zasztowt L. Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej.* Warszawa, 1997; *Staliunas D. Visuomene be universiteto? (Aukstosios mokyklos atkurimo problema Lietuvoje: XIXa vidury – XXa. pradžia).* Vilnius, 2000 (есть пространный реферат на англ. и польск. яз.).
2. *Куль-Сяльверстава С.* Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур. Фармаванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII ст. – 1820-я гады). Мінск, 2000.
3. *Лебедев А.В.* Тщанием и усердием. Прimitив в России XVIII – первой половины XIX века. М., 1998.
4. *Сарабянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1980.
5. *Wołoszyński R.W.* Polacy w Rosji 1801–1830. Warszawa, 1984.
6. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10-ти томах. Л., 1978. Т. 7.
7. Отделение рукописей Государственного Русского музея. Ф. 23. Д. 9.
8. *Вяземский П.А.* Записные книжки. М., 1992.
9. Художники братья Чернецовы и Пушкин. СПб., 1999.
10. Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”. 1836. 28 XI. № 96.
11. *Погодин М.П.* Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний. 1831–1867. М., 1867.
12. *Горизонтов Л.Е.* Польский аспект подготовки крестьянской реформы в России // Иван Александрович Воронков – профессор-славист Московского университета. М., 2001.
13. *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.

Славяноведение, № 5

И.И. СВИРИДА. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки. М., 1999. 360 С.

Книга И.И. Свириды продолжает серию обращений автора к миру национальных культурных связей, миру, таящему еще много нераскрытых страниц. Исследовательница в очередной раз демонстрирует способность находить и разворачивать перед читателем эти страницы, складывающиеся в увлекательное и увлекательное самого исследователя повествование.

В соответствии с точно определенным в названии жанром – очерки – автор представляет главы, связанные с основными этапами (XVIII в., рубеж XVIII–XIX вв., первая треть XIX в., вторая треть XIX в.) и ключевыми “фигурами” художественной жизни рассматриваемого региона – Петербург, Варшава, Вильно, где сосуществовали в тесном переплетении польские, литовские, белорус-

ские, а также русские и западноевропейские традиции. Принцип, который положен в основу изложения материала, впервые представленного в столь широком объеме, позволяет проследить эволюцию рассматриваемого культурно-художественного феномена на протяжении практически полутора веков.

Во введении, предпосланном основному тексту, проанализирован сложный комплекс этнических, политических, географических, культурно-государственных факторов, определивших судьбу реконструируемого автором культурного пространства.

Породившие это пространство связи между тремя городами, помимо типологически общих черт, которые присущи межнациональному культурному общению, отличались и спецификой. Прежде всего, это мно-

жественность национальных истоков, питавших искусство и формировавших художественное сознание обитателей данного пространства, постоянных или заезжих. Весьма существенную роль играла политическая расстановка сил, заданная исторически сложившимися тесными и неоднозначными отношениями России и Польши. В XIX в. категория “столичности”, олицетворявшаяся Петербургом в данной тройке городов, обрела формально доминирующее значение, диктует направление связей, однако, как показано в книге, не предопределяя их содержания. Вместе с тем автор отмечает притягательность Варшавы и для русских заказчиков, и для западноевропейских мастеров, путь которых в российскую столицу часто вел через этот город, порой и заканчиваясь здесь.

Подзаголовок первого же эссе (“Художники, произведения, заказчики”) вводит в атмосферу книги, насыщенной именами, событиями, мемуарными свидетельствами. В текст включены своего рода минимонографии, посвященные отдельным художникам. Несомненно украшающие данную работу, они обладают самоценным научным значением, дополняя историографию таких мастеров, как Кипренский, Орловский, Брюллов, или практически впервые подробно прослеживают творческий путь таких художников, как английский гравёр Д. Саундерс, связанный с Петербургом и с Вильно. Глава, посвященная контактам польских и русских художников в Риме в первой трети XIX в., расширяет рамки рассматриваемого пространства до общеевропейских масштабов, показывая соотносимость национального развития с характерными художественными тенденциями эпохи.

Эпизоды русско-польских взаимоотношений, связанные с именами Пушкина, Вяземского, Мицкевича, подводят исследователя к вопросам взаимодействия литературы и живописи. В эпоху романтизма дружественный союз двух последних дополняла музыка, “закадровое” присутствие которой также обозначено в тексте.

Автор внимателен и к большим, и к малым величинам внутри рассматриваемого культурного пространства, восстанавливая не только наиболее значимые события, но и повседневное течение художественной жизни – например, в Вильно XIX в. Авторский анализ произведений дополняется малоизвестной или новой информацией о моделях, авторах, заказчиках, обстоятельствах появления вещей, что позволяет в ряде случаев предложить обоснованную переклассификацию

или переатрибуцию отдельных из них (что уже вошло, например, в новый каталог ГМИИ им. Пушкина).

“Пространство” самого исследования пронизано “сквозными” сюжетами, затрагивающими различные – духовные и материальные – аспекты межнационального общения, бытие и сознание его участников и творцов. Это – путешествие как источник вдохновения и художественных впечатлений, своеобразный “транзит” мастеров и произведений искусства через избранные центры; связи в области академического художественного образования; проблема масонства и его влияния на художественную мысль своего времени; “садовые” контакты как отражение культурно-стилевых процессов эпохи (знатоком в освещении двух последних тем автор уже предстал в своем труде “Сады Века философов в Польше” (М., 1994)).

Гармоническое сочетание основательного историко-культурного и искусствоведческого подходов к освещению конкретных фактов, художественных процессов и их проблем с беллетризованными элементами в подаче материала сообщает тексту научную весомость вкупе с увлекательностью изложения.

К очевидным достоинствам книги можно прибавить то, что она стимулирует интерес к предлагаемому материалу представителей различных гуманитарных специальностей, привлекает внимание к предложенной и реализованной здесь продуктивной возможности рассматривать художественные связи не просто как контакты отдельных культур или мастеров, обычно двусторонние, а как жизнь европейского культурного пространства, форму его самоструктурирования.

Книга уже вошла в научный обиход исследователей как русской, так и зарубежной культуры, получила освещение в российской и польской научной периодике, где, в частности, отмечалось, что книга, “удачно воссоздавая микропространство польско-литовско-русской художественной среды в макроконтексте всей Европы”, способствует тому, чтобы «разрушить легкие стереотипы, открывает новую перспективу для историков искусства, литературоведов и историков, нарушает традиционное (“partykularne”) видение культуры и истории» [1. S. 181]. Согласно другому мнению, предложенный автором подход привлекает интерес в свете дискуссий о современном кризисе искусствоведения, он созвучен «сегодняшнему восприятию исторической действительности, отвечает потребности “в насыщенности истории “человеческим присутствием” и “художни-

ками в культурном пространстве» [2. С. 622]. В рецензиях на монографию И.И. Свириды шла речь и о том, что в книге «детально прорисована своеобразная историко-культурная картина, благодаря чему происходит не выяснение некой зависимости одного национального искусства от другого, не определение того ... на чьей стороне приоритеты», а прослеживается, «как складывается исследуемый в избранном срезе историко-культурный процесс, как высвечиваются доминантные направления культуры в одном отдельно взятом регионе европейского культурного пространства» [3. С. 62].

Потенциальные возможности богатого изобразительного, фактологического, литературного материала, извлеченного автором из разных, в том числе архивных, источников, отнюдь не исчерпаны в границах данного труда. И.И. Свирида сознательно

оставила некоторые вопросы открытыми, наметив помимо проведенной основной линии исследования ряд мотивов, ждущих своего часа. Некоторые из них уже нашли свое развитие в ее новых работах.

© 2003 г. *И. М. Марисина*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Micińska M.* Republika artystów // *Kultura i społeczeństwo*. 2000. № 2.
2. *Турчин В.С. И.И. Свирида.* Между Петербургом, Варшавой и Вильно // *Искусствознание*. 2001. 1/01.
3. *Софронова Л.А.* Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве // *Вестник РФФИ*. № 1.

Славяноведение, № 5

Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского: Каталог: Из собрания научной библиотеки МГУ / Сост. Л.Ю. Аристова. М., 2000. 336 С.

Ровно 160 лет тому назад Московский университет выкупил у О.М. Бодянского более двух тысяч томов, которые и составили Дидактическую славянскую библиотеку. Это собрание, уже полвека занимающее особое место в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, удостоилось наконец специального каталога, который подготовила сотрудник отдела Л.Ю. Аристова. Библиотека Бодянского представляется наиболее удачно укомплектованной из всех, хранящихся на Моховой. Бодянский собрал ее лично за короткий период (пять лет), к тому же купив все книги за границей. Редко встречается книжное собрание научно-дидактического характера, которое хранило бы столь отчетливый отпечаток личности одного человека. Поэтому столь значимой представляется каталогизация этого важнейшего элемента наследия русской культуры и науки. Очевидно, что подобный каталог позволит историкам славяноведения и просвещения, а быть может, и политологам сделать немало интересных наблюдений. Предоставим, однако, эти вопросы специалистам и ограничимся замечаниями исключительно библиографического характера.

Деление каталога на четыре части (польскую, чешскую, сербскую и общую) создает определенные методологические трудности, но, с другой стороны, отвечает замыслу Бодянского, предназначавшего свою библиотеку в первую очередь для студентов-славистов. Идея членения принадлежит не Бодянскому, а библиотекарям XIX в., отсюда отдельные ошибки при классификации книг. Отмечая подобные неточности, автор каталога однако их не исправляет (С. 21–22). Аргументы, приведенные в пользу такого решения, не вполне убедительны, тем более, что таким образом закрепляются неточности, которых сам Бодянский наверняка бы не допустил. Наилучшим выходом представляется составление отдельного списка библиотечных шифров, а еще лучше – указателя шифров с каталожными номерами. Во вступлении автор указывает также, что собрание включает в себя книги, которые никак не могли быть куплены Бодянским – нам представляется, что ради истории библиотеки целесообразно было бы обозначить подобные позиции в каталоге, а также объяснить, была ли книга включена в Славянскую библиотеку в XIX ст. или лишь в период нового объединения.

В каталоге наблюдается некоторая непоследовательность. Так, книги в нем порой расположены по заглавию, несмотря на имеющуюся в описании фамилию автора: например, позиции 134 (автор: Антоний Лишка), 272 (Юзеф Улановский), 1024 (Цебес Тебанус) или 1511 (Антун Канижлич). Анонимные переводные произведения чаще всего располагаются по заглавию, но порой и по имени переводчика: например, позиция 369 (Валевский Кастан), 1045 (Томса Франтишек Богумил). В одних случаях автор каталога поясняет, что указывает имя переводчика, а не автора (позиция 390 – Вольнский Мауриций), в других – нет (позиция 178 – Лелевель Иоахим). Первая часть составлена согласно латинскому алфавиту (например, Da browski, Dahlmann), порой – согласно польскому (Gawarecki, Gasiorowski). Вторая часть составлена согласно чешскому алфавиту, однако позиции 902–929 (Sch...) занимают место согласно алфавиту латинскому, т.е. после “Sa...” (тогда как в чешском они должны были бы находиться после “Sh”). Подобная непоследовательность, разумеется, не имеет особого значения, однако несколько нарушает четкость систематизации.

Весьма полезным для исследователей представляется тематический каталог библиотеки, демонстрирующий программно-дидактические основы российской славистики того времени (например, обилие модных тогда в Европе легких сценических произведений – главным образом, принадлежащих перу плодovitых французских авторов). Кроме того, пользователь каталога, без сомнения, оценит полный именной каталог. Естественно, в силу членения каталога на четыре части один и тот же автор оказывается порой в нескольких местах. Так, Горацкий указан в первой (польской, позиция 112), второй (чешской, позиция 612) и третьей (сербской, позиция 1466) частях; П.И. Шафарик – во второй (чешской, позиция 987–996), а также в первой (польской, позиция 288) частях; подобным образом обстоит дело и с К.А. Винаржицким (позиция 376, 1096–1102). Не будь указателя, читателю пришлось бы нелегко. Немало сложностей и с переводной литературой, особенно в сербской части. В указателе достаточно было бы дать ссылку с “Wieland” на “Виланд”. Кроме того, с помощью указателя еще на этапе редактирования можно было исключить некоторые ошибки: например, заметить, что под номером 376 должен находиться “Karel Alois Vinařický”, а не “Karol Winarzycki”.

В первой части (польской) фамилии нередко написаны согласно устаревшей орфографии XIX в. Судя по этому (а также некоторым другим признакам), предполагаю, что автор пользовался первым изданием “Польской библиографии” Кароля Эстрайхера (здесь следует напомнить, что в 2000 г. вышел очередной, XVII том второго издания польской “Библиографии XIX столетия” (“Кнебель” – “Копытовский”). Издание это объединяет и дополняет три серии первого издания Эстрайхера XIX в.). Именные и предметные ссылки Эстрайхера (пользоваться которыми, следует признать, непросто) позволяют установить авторство многих анонимных произведений. Однако автор каталога не использовал все имевшиеся для этого возможности, а порой (к счастью, не часто) идентифицировал авторов ошибочно. В качестве примеров первого случая можно указать следующие позиции: 75 (у Эстрайхера ссылка с “Wiekі” на “Lelewel Joachim”), 103 (ссылка с “Gramatyka języka polskiego” на “Якубович М.” (в сущности, это пример поиска автора произведения с испорченным титульным листом. Добавим также, что позиция “1Тс 246” складывается из трех. Первая, с испорченным титульным листом, это III часть “Грамматики” М.Якубовича [1]; вторая, без титульного листа – II часть той же “Грамматики” [2]; наконец, третья, также без титульного листа, описанная здесь как раздел II части “Грамматики” М. Якубовича, на самом деле является “Немецкими выписками, или полезной и легкой в чтении книгой для изучающих немецкий язык” [3] неизвестного автора) или 132 (ссылка с “Ballady” на “Bogdaszewski Ig.”). Что касается второго случая (более трудного), укажу все обнаруженные мною ошибки: 108 (в каталоге указывается “Henrykowski Ignacy”, в то время как автор романа “Хенрик и Мария” неизвестен), 141 (“Kolberg Oskar” вместо “Konopka Józef”), 156 (“Kraśniński Adam Stanisław” вместо “Kurhanowicz Tomasz”), 244 (“Ossoliński Wiktor” вместо “Opaliński Łukasz” [4]), 362 (“Tyszyński Aleksandr” вместо “Siemieński Lucjan”) и 406 (“Zenon Seweryn” вместо “Sierpiński Seweryn Zenon”). Здесь хотелось бы отметить, что имея дело с польскими книгами, Эстрайхер и в самом деле редко ошибается. Поэтому если библиографическая запись не согласуется с его изданием, следует предпринять дополнительные изыскания, так как существует вероятность, что прав Эстрайхер, а не автор описания.

Подобные возможности предоставляет Эстрайхер также для разгадки криптонимов

и псевдонимов, хотя использовавшийся в XIX ст. метод их записи (т.е. переворачивание криптонимов, например, криптоним "F.W." у Эстрайхера записан как "W.F."; "M.L.Z." у Эстрайхера следует искать под "Z.M.L.", так как Эстрайхер предполагал, что криптонимы являются инициалами имен и фамилий авторов, что, как известно, не всегда оказывается правдой) поисков не облегчает. Думаю, что именно подобная архаичность первого издания "Библиографии" Эстрайхера не позволила автору каталога полностью использовать эту книгу при работе над польской частью библиотеки Бодянского.

Встречаются в каталоге и обыкновенные опечатки, например: позиции 99 и 195 ("Malczeski" вместо "Malczewski"), 175 ("Lancucki" вместо "Łańcucki"), 190 ("Lubieńska" вместо "Łubieńska"), 232 ("Nowakowski" вместо "Noakowski"). К опечаткам можно отнести также разделение польских ("cz", "dz", "rz", "sz") или немецких ("sch", "tz") буквенных сочетаний.

Разумеется, все эти замечания никак не умаляют ни ценности каталога, ни масштаба работы, проведенной его автором. Надеюсь лишь, что они окажутся полезными при каталогизации других ценных и интересных собраний, находящихся в хранилищах Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.

© 2003 г. *С. Сисс-Кишишовский*

© 2003 г. *Перевод И. Адельгейм*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Jakubowicz M. Grammatyka. Wilno, 1827. Część III.*
2. *Jakubowicz M. Grammatyka. Wilno, 1825. Część II.*
3. *Wypisy niemieckie czyli xięga pożyteczna i łatwa do czytania dla uczących się języka niemieckiego. Wilno, 1820.*
4. *Bibliografia polska. Kraków, 1910. Część III.*



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “200 ЛЕТ РУССКО-СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ В ТАРТУ”

Славянская филология в Тартуском университете имеет славные традиции. Об этом свидетельствует, в частности, международная научная конференция, посвященная 200-летию основания здесь кафедры славянской филологии (10–12 октября 2002 г.).

Первое пленарное заседание состоялось в Белом зале Музея истории университета. С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор Университета В. Кальма, посол Российской Федерации в Эстонии К.К. Провалов, посол Польши В. Врублевский, а также митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнелий.

К.К. Провалов в своем выступлении подчеркнул важность того, что традиция изучения русско-славянской филологии в Тартуском университете не прерывается. С другой стороны, и в российских высших учебных заведениях (в частности, в Московском и Воронежском университетах, в МГИМО) студенты изучают эстонский язык. Таким образом происходит взаимобогащение русской и эстонской культур. Посол сообщил, что Россия устанавливает две стипендии им. Ю.М. Лотмана на русско-славянском отделении Университета: одна назначается для эстонского студента, другая – для русского.

В. Врублевский рассказал о тесной связи польской культуры с Тартуским университетом. Еще в XVI в. Стефан Баторий основал в Дерпте коллегии. А в XIX в. местный университет окончили около двух тысяч поляков. Впоследствии многие из них приняли активное участие в строительстве независимой Польши.

Митрополит Таллинский Корнелий отметил тесную связь православия в Эстонии с Россией. Русские священники изучали эстонский язык, а православные эстонцы – русский. Он вспомнил о епископе Ревельском Платоне (1918), эстонце по происхождению, который горячо любил свой народ и русскую православную церковь.

В заключение торжественной части председатель Оргкомитета, зав. кафедрой славянской филологии Университета А.Д. Дуличенко выразил благодарность спонсорам конференции.

Научную часть конференции открыл доклад С.Г. Исакова (Тарту) “Основные этапы развития славянского литературоведения в Тартуском университете (1802/03–1950-е гг.)”. Автор выделил пять основных этапов развития кафедры, различавшихся в организационно-административном отношении и по целям преподавания. На первом этапе, охватившем первые две трети XIX в., на кафедре русского языка и словесности велось практическое преподавание русского языка и отчасти литературы для немецких студентов, составлявших основной контингент учащихся в Дерптском университете. Первыми преподавателями кафедры стали Г.А. Глинка (1803–1810), А.С. Кайсаров (1811–1813), А.Ф. Воейков (1814–1820), В.М. Перевоицкий (1821–1830), М.П. Розберг (1836–1865). На втором этапе (последняя треть XIX–1918 г.) кафедра, получив по университетскому уставу 1865 г. новое название (“кафедра русского языка в особенности и славянского языковедения вообще”), значительно расширила свои функции. Преподавание русской и славянской литературы углубилось и ориентировалось теперь на русскоязычных студен-

тов, особенно после того как университет был переименован в Юрьевский. Повысился научный уровень профессоров. Среди них следует отметить А.А. Котляревского (1868–1873), П.А. Висковатова (1874–1895), Е.В. Петухова (1895–1918), а также одновременно преподававших здесь языковедов Н.К. Грунского (1907–1915) и Г.А. Ильинского (1916–1918). Целую эпоху в развитии славянской филологии в Тартуском университете составило преподавание на новой кафедре сравнительной грамматики славянских наречий И.А. Бодуэна де Куртенэ (1883–1893) и А.С. Будиловича (1893–1901).

Третий период истории кафедры охватывает время существования первой Эстонской республики. Сфера деятельности кафедры славянской филологии по политическим причинам значительно сузилась. Теперь шла подготовка прежде всего учителей русского языка для русских школ, число которых постепенно сокращалось. Здесь преподавали тогда Л.Г. Мазинг (1919–1925), А. Стендер-Петерсон (1927–1931), П. Арумаа (1934–1944). После Второй мировой войны начался советский период развития кафедры, когда ее функции и сфера деятельности значительно расширились. На кафедре русского языка преподавали Й. Фельдбах, Е. Тобиас-Малышевская, Л. Ватман, Ю. Скиба, А. Правдин, а также М.А. Шелякин (1975–1978) и С.В. Смирнов (1963–1975 и 1978–1989). Профессорами кафедры русской литературы были В. Адамс (1947–1949), Б.В. Правдин (1949–1954), Ю.М. Лотман (1960–1977), В.И. Безубов (1917–1980) и С.Г. Исаков (1980–1992). Докладчик отметил, что в то время кафедра благодаря теоретическим исследованиям выдающихся ученых выдвинулась в число ведущих литературоведческих центров СССР. С начала 1990-х годов в независимой Эстонии славянская филология продолжает развиваться. В Университете с 1992 г. работают три кафедры, образующие Отделение русской и славянской филологии: кафедра русского языка (зав. И.П. Кюльмова с 1993 г.), кафедра русской литературы (зав. Л.Н. Киселева с 1992 г.) и кафедра славянской филологии (зав. А.Д. Дуличенко с 1992 г.).

А.Д. Дуличенко (Тарту) в докладе “Славянское языкознание в Тарту в XIX–XX вв.”, придерживаясь периодизации С.Г. Исакова, раскрыл языковедческую составляющую работы кафедры славянской филологии и даже вышел за пределы университетской тематики, отметив вклад в славянское языкознание преподавателей дерптской гимназии И.М. Николича (“Опыт пояснения видов русских глаголов”. 1843), И.Я. Павлов-

ского как составителя немецко-русского и русско-немецкого словарей, а также начавших научную деятельность в Дерпте известных впоследствии филологов А.А. Соколова, П.И. Прейса, В.И. Григоровича, В.И. Дала. Автор подчеркнул, что с приходом в Тарту И.А. Бодуэна де Куртенэ, а затем А.С. Будиловича начался расцвет славянской филологии в Юрьевском университете. В заключении докладчик очертил круг задач, стоящих перед исследователями истории славянской филологии в Тарту. По его мнению, необходимо составить подробную библиографию работ по славянской филологии, выполненных здесь начиная с 1802 г., выявить архивные материалы, создать библиографический словарь тартуских славистов, изучать отдельные периоды развития здесь славянской филологии, готовить монографии и диссертации по данной тематике. Все это поможет в конечном итоге написать историю славистики в Тарту в XIX–XX вв.

В середине дня 10 октября в Отделении русской и славянской филологии на филфаке Тартуского университета состоялось торжественное открытие и освещение митрополитом Корнелием памятной доски по случаю 200-летия кафедры.

Вечернее заседание в Круглом зале филфака началось с доклада В.Ю. Франчук (Киев) “Вопросы языка и культуры в эпистолярном наследии тартуских и харьковских славистов”. Автор сделала обзор неопубликованной переписки харьковского слависта А.А. Потехни с П.А. Висковатовым, И.А. Бодуэном де Куртенэ и др., касающейся их педагогической деятельности в Тартуском университете.

О.В. Никитин (Москва) в докладе “В.И. Григорович и славянская филология в России в XIX в.” на основе предшествующей литературы всесторонне рассмотрел вопрос о вкладе ученого в российское славяноведение позапрошлого века.

В докладе А. Коннап (Тарту) представлена деятельность известного финноугроведа М. Веске (1843–1890), в частности, изучение им субстратных прибалтийско-финских топонимов северной России. Особо отмечено, что вывод ученого о непосредственном соседстве в древности самодийских языков Сибири и прибалтийско-финских языков подтверждается современными исследователями.

Ю.С. Кудрявцев и В.П. Щаднева (Тарту) охарактеризовали в своем докладе на основе архивных материалов деятельность профессора Тартуского университета Л.Г. Ма-

зинга как преподавателя и ученого, указав, что здесь в течение 45 лет он читал курсы лекций по сербохорватскому языку, истории русского языка, сравнительной грамматике славянских языков и др. на немецком и русском языках. Авторы проанализировали также его теоретические взгляды в области лингвистики.

В докладе *И.В. Чуркиной* (Москва) “А.С. Будилович и его деятельность в Тартуском университете” были проанализированы взгляды ученого, сформировавшиеся под влиянием русского слависта, сторонника языкового и духовного объединения славянства В.И. Ламанского и его единомышленника, лидера закарпатских русинов А.И. Добрянского. Автор показала, что русификация немецкого университета в Дерпте не имела отрицательных последствий для эстонской культуры. Точка зрения докладчицы была поддержана выступавшими в дискуссии.

С.Б. Евстратова (Тарту) остановилась на научной деятельности А.С. Будиловича, рассмотрев вопрос об отражении представлений славян о природе в его работах и в современной этнолингвистике. Сопоставив отдельные определения природных явлений в труде ученого “Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным” и этнолингвистическом словаре, созданном под руководством академика Н.И. Толстого, автор пришла к выводу, что Будилович пунктирно наметил мифологический аспект в славянской лексикологии, развитый затем в “Славянских древностях” Н.И. Толстого.

Первая половина работы конференции 11 октября была посвящена деятельности в Тарту выдающегося российского и польского лингвиста И.А. Бодуэна де Куртенэ. До начала заседаний А.Д. Дуличенко провел экскурсию по бодуэновским местам в городе, выявленным им на основании архивов. Были показаны три сохранившиеся дома, в которых в разное время проживал ученый – дом сапожника, дом баронессы Штакельберг и особняк на улице Нейтусе, 5, а также “Бодуэновская аудитория” с памятной доской в Главном здании университета. В нем же было проведено утреннее заседание конференции. Его открыл *В.М. Аллатов*, который в фундаментальном докладе “И.А. Бодуэн де Куртенэ и лингвистика XX в.” убедительно показал роль ученого в становлении господствующей в прошлом веке лингвистической парадигмы (структурализма), сравнив основные теоретические представления ученого с положениями знаменитого труда швейцар-

ского лингвиста Ф. де Соссюра “Курс общей лингвистики” (1916). Автор пришел к выводу, что Соссюр был основоположником общей теории языка, а Бодуэн, заложив основы фонологии, создав теории фонем и морфем, был основателем отдельных ярусов языкознания. При этом в начале XXI в. многие идеи Бодуэна, отвергнутые или непонятые в начале прошлого века (психологизм, взаимосвязь синхронии и диахронии, различие языка и речи и др.), оказываются все более востребованными в современной лингвистике.

В докладе *Е.Н. Велмезовой* (Москва) “Языковая эволюция в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ” были детализированы некоторые положения лингвистической теории ученого (различение понятий “развитие отдельного языка” и его история) в контексте развития современного ему языкознания.

К. Кенда-Еж (Любляна) рассказала в своем докладе о фонетических особенностях словенских говоров, выявленных в исследованиях И.А. Бодуэна де Куртенэ. В зачитанном (в отсутствие автора) докладе *Б.М. Гаспарова* (Нью-Йорк) говорилось об идее фонемы в евразийском контексте на примере сопоставления лингвистических воззрений Бодуэна и принципов обучения инородцев на родном языке известного востоковеда Н.И. Ильменского.

А. Золтан (Будапешт) проанализировал взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ на палатализацию заднеязычных в работах венгерского кампаративиста О. Ашбота (1852–1920). *Э.В. Романчик* (Тарту) рассмотрел взгляды ученого на кашубский вопрос, а *Г.А. Лилич* (С.-Петербург) – его научно-педагогические принципы и подходы как экзаменатора (на основе воспоминаний бывших студентов М. Фасмера, В.И. Чернышева, В.Б. Шкловского и примеров из составленного Бодуэном задачника экзаменационных вопросов по лингвистике).

З.А. Пахолок (Луцк) посвятила свой доклад вопросу о роли И.А. Бодуэна де Куртенэ в становлении научного таланта польского и русского слависта Н.В. Крушевского (1851–1887). На основе анализа архивных документов автор показала сложные отношения двух ученых как учителя и ученика, как коллег, столкновение непростых характеров. Докладчица указала также на приоритет некоторых идей Крушевского, разработанных позднее Бодуэном.

Послеобеденное заседание конференции в Круглом зале филфака открыл доклад *М.Ю. Досталь* (Москва) «Проблемы исто-

рии российского славяноведения в тематических выпусках “Ученых записок Тартуского гос. университета” в 70–80-е гг. XX в.». Автор отметила, что особенное внимание в них было уделено актуальным вопросам становления российской славистики в первой трети XIX в., организации славистических кафедр в российских университетах, изучения творческого наследия отечественных славистов и их связей с зарубежными коллегами. По ее мнению, сборники являют собой достойный и теперь подражания прекрасный пример творческого содружества славистов СССР и внесли весомый вклад в развитие историко-славистических исследований в стране.

Л.А. Рябова (Тарту) воскресила имя забытого слависта. Она рассмотрела один из первых опытов создания сравнительной грамматики славянских языков, предпринятый учителем дерптской гимназии В.Н. Полевым (1824–1863) в 1851 г. При ее написании он использовал церковнославянский, русский, чешский и польский языки.

В докладе *Л.П. Лантевой* (Москва) основательно, на основе архивных материалов, с внесением некоторых уточнений, проанализирована научная деятельность в Юрьевском университете в 1893–1918 гг. российского слависта Е.В. Петухова. Он написал монументальный труд “Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за 100 лет его существования (1802–1902)” (Юрьев, 1902, 1906), историю русской литературы с древнейших времен, историю древней болгарской литературы, очерк о лужицких сербах и пр. *М. Салумене* (Тарту) остановилась на трудах профессора Дерптского университета В.М. Перевощикова (1785–1851), который изучал русские летописи, писал о истории литературоведения и пр.

Е.Е. Королева (Даугавпилс) рассказала о Балтийской экспедиции Института этнографии АН СССР 50-х годов XX в., внесшей важный вклад в изучение эстонских и русских говоров (особенно этнической группы сетов) на территории Эстонии. В докладе *Г.М. Пономаревой* был освещен малоизученный вопрос о трудных судьбах студентов-славистов Тартуского университета в 1919–1944 гг., об особенностях студенческой жизни и преподавания русистики здесь в указанный период. Докладчик подчеркнула вклад русских студентов Университета в собирание фольклора в русских деревнях Эстонии, в изучение местных диалектов.

12 октября утренние заседания конференции проходили в двух секциях: А – лингвистической и Б – литературоведческой. В Лингвистической секции было заслушано пять докладов.

С.И. Рагрина (Таллин) проанализировала две проповеди архимандрита Леонтия Карповича из Вильно, язык которым они были написаны, так называемую “русскую мову”, которой пользовались русские люди в княжестве Литовском в конце XVI в. Докладчик нашла в этой “мове” следы влияния белорусского, украинского, польского языков. Одновременно автор исследовала значение этнонима “руси́н” в названном княжестве и определила, что он применялся по отношению к некатоликам, неполякам, но к славянам.

Л.В. Дуличенко (Тарту) провела сравнение забытых слов (михрютка, байбак, краснойбай и др.) на материалах “Толкового словаря живого великорусского языка” В. Даля и Малого академического словаря русского языка.

О.Н. Паликова (Тарту) рассказала историю создания Русско-эстонского словаря. Начало этому положил крупный эстонский филолог П. Арумаа, в 1934–1944 г. возглавлявший кафедру славянской филологии в Тарту, а окончили его дело Б.В. Правдин и Й.В. Вески.

И.В. Абисогомян (Тарту) охарактеризовала деятельность кафедры славянской филологии, возродившейся в 1992 г. после ее закрытия в 1944 г. На кафедре преподают два доктора филологических наук, профессора А.Д. Дуличенко и С.Г. Исаков, работают польские профессора. За десять лет 70 студентов защитили дипломы, пять аспирантов – магистерские диссертации. Магистранты разрабатывают историю славяноведения в Тарту.

Е.В. Антушева (Тарту) в своем докладе “Г.А. Ильинский-этимолог (тартуский период)” остановилась на деятельности в Тарту в 1916–1918 гг. известного лингвиста Г.А. Ильинского (1878–1937).

Заседание литературоведческой секции открыл доклад *П.Х. Торопа* (Тарту) “Тартуско-московская школа и проблема славянской семиотики”, в котором охарактеризованы ее специфические особенности и главные адепты в славянских странах.

В докладе *Т.К. Шор* (Тарту) были детально проанализированы курсы славянских литератур, читавшиеся в Дерптском-Юрьевском университете в 1875–1918 гг. П.А. Висковатовым, А.С. Будиловичем,

Е.В. Петуховым, Н.К. Грунским и Г.А. Ильинским.

Л.Н. Киселева (Тарту) в докладе “Ю.М. Лотман – заведующий кафедрой русской литературы (1960–1977)” рассказала об особенностях этого славного периода тартуского литературоведения. Автор определила основные принципы кадровой и научной политики маститого ученого, заключавшиеся в стремлении обеспечить преемственность и омоложение состава кафедры, повышение квалификации ее сотрудников (защита диссертаций, доклады на научных заседаниях кафедры, выпуск научных трудов и пр.). Докладчик высоко оценила нравственно-этические установки ученого, требовавшего от сотрудников соблюдения научной добросовестности, коллегиальности, уважения к преподавателям и студентам.

Далее в докладе *Л.Л. Пильд* (Тарту) был показан вклад профессора кафедры русской литературы З.Г. Минц в исследование предромантической эпохи в ее развитии. В докладе *Ю.К. Пярлю* (Тарту) “Роль кафедры русской литературы в развитии методики преподавания литературы в Эстонии в 1960–1980-е годы” доказывалось, что многие перспективные разработки данного направления Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц, В.И. Беззубова и др. не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

На вечернем заседании в Круглом зале филфака выступила с докладом *Н.А. Нечунаева* (Таллин), рассказав о судьбах славянских гимнологических рукописей из коллекции Научной библиотеки Тартуского университета.

В докладе *И.П. Кюльмоя* (Тарту) говорилось о вехах в развитии тартуской русистики. В частности, были охарактеризованы сочинения Г.А. Глинки, И.М. Николыча, И.Н. Кудрявского и др. по русскому языкознанию.

О.Н. Хааг (Тарту) в своем докладе представила проблемы синтаксиса в учебном процессе в Дерпте в XIX в., а *Н. Синдерецкая* (Таллин) рассказала об эстонско-польских связях периода 1918–1944 гг. на примере трудной судьбы приват-доцента Варшавского университета, финноугроведа В. Эрница.

Е.И. Костанда (Тарту) посвятила свой доклад анализу синтаксической проблематики в трудах преподававших в Тарту И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.С. Будиловича, И.Н. Кудрявского, Б.М. Гаспарова, М.А. Шелякина и др., а *О.Г. Ровнова* (Москва) – вопросам русской аспектологии в изданиях Тартуского университета. Автор проанализировала выходявшие в

1975–1982 гг. в Тарту сборники “Вопросы русской аспектологии”, определив специфику их проблематики и отметив роль профессора Шелякина в развитии теоретической базы данного научного направления.

В докладе *К.П. Алликметс* (Тарту) были продемонстрированы способы предъявления социокультурной информации в учебниках по русскому языку для эстонцев. Она подчеркнула интерес эстонской общественности к русскому языку в разные периоды истории Эстонии. В межвоенный период, хотя русский язык не включался в эстонские школьные программы, было издано десять учебников русского языка для эстонцев. Даже в период немецкой оккупации 1942–1943 гг. вышло в свет пять учебников русского языка, а за послевоенное время их было опубликовано 25.

Завершил конференцию доклад *Х.Ю. Виссак* (Тарту) о современном (с конца 1980-х годов) тартуском опыте создания пособий и словарей по специальности “правоведение”.

В заключение *А.Д. Дуличенко* подвел итоги прошедшей международной конференции, в которой приняли участие около 40 ученых из Эстонии, России, Украины, Словении, Венгрии, США. Он подчеркнул, что в прочитанных докладах были освещены более или менее подробно все периоды развития славянской филологии в Тартуском университете, подняты проблемы языкознания, литературоведения, преподавания русского языка и литературы и истории науки, охарактеризованы слависты, преподававшие не только в университете, но и в дерптской гимназии. Таким образом, основные задачи конференции были успешно выполнены. Материалы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике, который предполагается представить на XIII Международном съезде славистов в Любляне в августе 2003 г.

Следует добавить, что культурную программу конференции составили кроме бодуэновской экскурсии и банкета, также посещение желающими концерта духовной музыки А. Вивальди в исполнении Камерного хора эстонской филармонии и прекрасная экскурсия по историческим местам Тарту, проведенная С.Б. Евстратовой.

Конференция была прекрасно организована, за что выражаем глубокую признательность ее главному инициатору и организатору А.Д. Дуличенко.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “Ю.И. ВЕНЕЛИН И БОЛГАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ”

23 апреля 2002 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Ю.И. Венелина (Георгия Гуцы). В этот день в Киевском славистическом университете (КСУ) состоялась научная конференция “Ю.И. Венелин и Болгарское национальное возрождение”, посвященная одному из первых российских славистов, стоявшему у истоков отечественной болгаристики.

В последние десятилетия из-за трудностей с информационным и финансовым обеспечением славистические конференции стали не такими представительными, связи ученых ослабли, нелегко как публиковать новые научные труды, так и узнавать об их выходе из печати и приобретать. До сих пор остается неизданным сборник, подготовленный в 1989 г. к 150-летию со дня смерти Ю.И. Венелина.

Тем значительнее была инициатива профессора Киевского славистического университета И.А. Стоянова и возглавляемого им оргкомитета, сумевших не только привлечь к участию в конференции специалистов разных научных учреждений г. Киева, но и пригласить представителей Института славяноведения РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Одесского Национального университета.

Открыл конференцию и пожелал ей успешной работы Президент Киевского славистического университета, д-р ист. наук, профессор, заслуженный деятель просвещения Украины Ю.М. Алексеев. Конференцию приветствовали представители Посольства Республики Болгария в Украине, болгарские журналисты, преподаватели и студенты. Работа конференции велась на украинском языке, доклады читались на украинском, русском и болгарском языках.

Со вступительным словом “Ю.И. Венелин – языковед и этнограф” выступил В.В. Нимчук, чл.-кор. НАН Украины, директор Института украинского языка НАН Украины. Доклады и сообщения касались жизни и деятельности Ю.И. Венелина, значения его работ для развития славистики и болгаристики. Представлены были также доклады по некоторым вопросам славистики и болгаристики.

С анализом научной деятельности Ю.И. Венелина, значимости его трудов для дальнейшего развития болгаристики и славистики выступил проф. КСУ И.А. Стоянов –

“У истоков болгаристики и славистики”. Студент этого же университета Г. Бойко посвятил свое сообщение жизни Ю.И. Венелина и влиянию его работ на Болгарское Возрождение – “Ю.И. Венелин и национально-культурное возрождение Болгарии”.

Доклад ст. преп. Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко (КНУ) Е.Р. Чмыр был посвящен рассмотрению одной из работ Ю.И. Венелина – «Лексикологический комментарий в работе Ю.И. Венелина “Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты”» (СПб., 1840). Эта же работа была в основе сообщения ст. преп. КСУ И.Г. Дадиверина “Ю.И. Венелин и влахо-болгарская рукописная традиция”. Доклад “Ю.И. Венелин в общеславистическом европейском контексте” представила В.А. Захаржевская, ст. научный сотрудник Института литературы НАН Украины.

О влиянии творческой деятельности Ю.И. Венелина на процессы, проходившие в Болгарии, рассказали доц. Киевского лингвистического университета К.К. Потапенко – “Юрий Иванович Венелин и просветительское движение в Болгарии в первой половине XIX в.” и ст. преп. Национального института физической культуры С.В. Вячанина – “Вклад Ю.И. Венелина в развитие этнопедагогики Болгарии”.

Связь работ Ю.И. Венелина с современностью была затронута в докладах доц. МГУ им. М.В. Ломоносова И.В. Платоновой «От “Грамматики” Ю.И. Венелина до “Грамматики” Н.В. Котовой и М. Янакиева (из истории отечественной университетской учебной литературы по болгарскому языку)», доц. КСУ Э.П. Стояновой – “От Ю. Венелина до А. Кронштейнера: славистика, наука, политика” и лектора КНУ, доц. Пловдивского университета М. Славовой – “Букварь и христоматия как литературное явление”.

Три доклада были посвящены вопросам болгаристики и славистики, над которыми работают авторы: доц. Одесского Национального университета В.А. Колесник – “Балканизмы в именной системе говоров юга Украины”; канд. ист. наук Н.Г. Солонская (Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского) – “Библиотека Ярослава Мудрого в истории древнеболгарской литературы” и д-р филол. наук М.М. Пещак

(Украинский лингво-информационный фонд НАН Украины) – “Популяризация научных знаний в западнославянских письменных памятниках”.

После выступлений состоялась небольшая дискуссия по проблемам, затронутым докладчиками. Единодушным было мнение участников конференции, что необходимо продолжать изучение трудов и деятельности Ю.И. Венелина, работать в архивах и по

возможности публиковать результаты исследований.

Сообщение оргкомитета, что материалам конференции планируется посвятить VI том “Болгарского ежегодника”, органа Межреспубликанской научной ассоциации болгаристов, было встречено с большим удовлетворением.

© 2003 г. *И. В. Платонова*

Славяноведение, № 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПРЕПОДАВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ)”

22–23 октября 2002 г. на филологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялась международная научная конференция “Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение)”. В конференции приняли участие преподаватели, ученые стран СНГ, Польшы, Литвы, Латвии. Российская Федерация была представлена шестнадцатью высшими учебными заведениями, а также Институтом славяноведения РАН.

Открывая конференцию, заместитель декана филологического факультета, заведующий кафедрой славянской филологии В.П. Гудков подчеркнул актуальность обозначенной проблематики. Исторические условия, сложившиеся в странах Центральной и Восточной Европы в последнее десятилетие, открыли перед исследователями новые возможности, предполагающие отсутствие каких-либо догм или идеологических установок, для осмысления художественного опыта славянских стран и его изучения в сопоставительном плане с достижениями мировой литературы. Эта мысль была развернута и подтверждена выступлениями участников конференции.

Так, в докладах, прозвучавших на пленарном заседании, на материале славянских литератур были продемонстрированы новые подходы к изучению данной проблематики. *Л.Н. Будагова* (“К вопросу о функциях и специфике модернизма в литературах западных и южных славян”), выделив некоторые черты славянского модерна и авангардных течений, сформировавшиеся под воздействием западноевропейских литератур, показала новаторскую сущность упомянутых явлений, обусловленную нацио-

нальными традициями и задачами, которые стояли перед писателями славянских стран как на рубеже XIX–XX вв., так и в межвоенный период. О различных формах литературных связей Болгарии с Европой шла речь в выступлении *З.И. Карцевой* “Постмодернизм и болгарская литература (о литературных связях и типологии)”. Рассматривая болгарский постмодернизм в аспекте типологических схождений, докладчик констатировал, что, несмотря на определенные достижения, постмодернизм в Болгарии «так и не стал “главным” направлением в литературе», оставаясь лишь “источником неограниченных художественных поисков”. *В.А. Хорев* (“Литература “человеческого документа”. Польский опыт 60–90-х годов») своеобразную реакцию на постмодернизм усматривает в актуализации “парабеллетристических” жанров – “литературе факта”, эссе, “литературе человеческого документа” (“скрытый роман”), обозначенных польскими критиками как “силвы” и играющих в литературном процессе Польши последних десятилетий XX в. авангардистскую роль. Литературную ситуацию в Словакии первой половины XX в. и воздействие на ее формирование западноевропейских литератур проанализировала *А.Г. Машкова* (“Словацкая литература первой половины XX в. в контексте европейских литератур”). В противовес имевшей место в предшествующие десятилетия недооценке проблемы воздействия мирового художественного опыта на словацкую литературу докладчик на примере натурастической прозы показал инспирирующую роль творчества западноевропейских и скандинавских авторов.

Специальное секционное заседание было посвящено проблемам связей древнеславянских и зарубежных литератур (выступления В.Г. Короткого, Ф.Б. Людоговского, Ж.В. Некрашевич-Короткой, В.Д. Петровой и др.). В частности, в докладе *Ж.В. Некрашевич-Короткой* “Традиции античного и героического эпоса в новолатинской поэзии восточных славян XIV в.” было обращено внимание на наличие связей между эпическим наследием белорусских и украинских новолатинских поэтов и лучшими образцами классического стихосложения Древней Греции и Рима. Освещению проблемы воздействия библейской (ветхозаветной) и византийской риторической традиции на средневековую славянскую орнаментальную прозу было посвящено сообщение *В.Д. Петровой* “О ритмической организации средневековой орнаментальной прозы”.

Специальное секционное заседание было посвящено межславянским литературным связям XIX в. *Д.П. Ивинский* (“К проблеме Пушкин – Мицкевич...”) в своем выступлении описал скрытую полемику Пушкина с Мицкевичем, которую русский поэт вел в “Медном всаднике”, стихотворении “Он между нами жил...”, и ее соотнесение с переведенными им балладами “Будрыс и его сыновья” и “Воевода”. Влияние поэтики И.С. Тургенева на творчество Э. Ожешко было рассмотрено в докладе *О.А. Поляковой* «Искусство пейзажа в романе Э. Ожешко “Над Неманом” и произведениях И.С. Тургенева». *В.М. Шевцова* (“Жанр лирической повести в творчестве И.С. Тургенева и Я. Брыля”) в результате сопоставительного анализа “Поездки в Полесье” и “На Быстрянке” пришла к выводу о том, что, несмотря на различный характер лиризма данных произведений, каждый из писателей внес свой вклад в развитие лирической прозы. О воздействии опыта русской литературы XIX в., и прежде всего Достоевского, на художественное творчество сербских писателей, а также об эволюции его восприятия ими рассказал в своем выступлении *С.Н. Мещеряков* (“Традиции Достоевского в сербской литературе XIX–XX вв.”). О судьбе романа В. Реймонта “Мужики” в России шла речь в докладе *Е.З. Цыбенко*. Проведенный исследователем сопоставительный анализ произведения польского писателя с повестями “Мужики” Чехова и “Деревня” Бунина продемонстрировал существенные различия в подходах и изображении крестьянства, предопределенные спецификой условий жизни народов и задач, которые стояли перед писателями. С иной

стороны подошла к анализу романа “Мужики” *В.И. Оцхели* («Роман “Мужики” в контексте западноевропейской литературы»). Показав неоднозначную позицию критики в отношении влияния на Реймонта романа Золя “Земля”, докладчик высказал предположение о существовании общей “модели” для обоих писателей – трагедии Шекспира “Король Лир”, которая использовалась каждым из них в своих целях.

Весьма разнообразные аспекты литературных связей были затронуты участниками конференции на заседании, посвященном литературному процессу XX ст. При этом значительная часть сообщений базировалась на польском материале. *А.И. Баранов*, анализируя роман С. Пшибышевского “Крик” в контексте европейских литературно-эстетических традиций, показал, что рассмотрение данного произведения в русле европейских традиций (в выступлении приводятся сравнения с М. Метерлинком, Э. По, Э. Гофманом, Ф.М. Достоевским, а также упоминаются связи с эстетикой Э. Мунка) позволяет выявить “его полисемантичность и дает основание утверждать, что это один из интереснейших... романов”. На общность некоторых тенденций развития польского и западноевропейского литературного процесса первой трети XX в. (на примере романа В. Гомбровича “Фердидук”) обратил внимание *С.В. Клементьев*. О постреалистическом творчестве Е. Анджеевского и признаках поэтики постмодернизма в его романе “Месиво” рассказала в своем выступлении *А.А. Савельева*. Польско-русским литературным связям XX в. были посвящены доклады *Ю.С. Конькова* («Концепт “Россия” в польской драматургии 90-х годов XX в.») и *Ю. Гладысь* (“Проявление национального и универсального в прозе И. Бабеля и польской литературе факта 20–30-х годов”). *В.Я. Тихомирова* (“Как читают современную литературу в Польше?») коснулась некоторых факторов, влияющих на формирование вкуса и запросов польских читателей в отношении отечественной и зарубежной литературы.

С результатами исследования специфики македонского литературного процесса и его соотношения с развитием мировой литературы, сыгравшей важную роль в его формировании, познакомил участников конференции *А.Г. Шешкен*. Схожую проблему на материале словенской литературы затронула *Ю.А. Созина* («Отражение общеевропейского культурного контекста в романе Д. Рупела “Львиная доля”»). О неомифологической тенденции как важнейшей

типологической особенности литературного процесса XX в. шла речь в докладе *И.В. Уварова* (“Поэтика прозы Й. Радичкова. К вопросу о формах литературных связей XX в.”). Особенности словацкого символизма, его контактно-генетическим и типологическим связям было посвящено выступление *Н.В. Шведовой* (“Словацкий и русский символизм: черты сходства и различия”). При этом значительное внимание было уделено проблеме сопоставления с русским символизмом, которая до сих пор еще мало изучена. К опыту русской литературы, в частности И. Бунина, обратилась *Л.Н. Юрченко*, показав его влияние на творчество *М. Стельмаха*.

Определенный интерес представили доклады, посвященные эмигрантской литературе, а также проблемам перевода (*Н.В. Кононова*). *Л.П. Голикова* (“Русская эмиграция и ее вклад в развитие науки, культуры и литературы Чехословакии в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами”), познакомив с деятельностью и трудами русских эмигрантов в Чехословакии, пришла к вполне обоснованному выводу о значительности их вклада в культуру страны. Богатый материал о литературе бе-

лорусской эмиграции конца XIX – первой половины XX столетия и ее особенностях содержал доклад *Г.Л. Нефагиной*.

Весьма полезную информацию получили участники конференции, прослушав выступления, содержащие сведения о преподавании зарубежных, в том числе славянских, литератур. Так, *В.А. Моторный* проследил историю преподавания славистических дисциплин во Львовском национальном университете им. И. Франко с середины XIX в. до наших дней. О традициях преподавания славянских языков и литератур в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского рассказал *С.А. Рылов*. Свою концепцию курса “Истории литератур западных и южных славян” для русского отделения представила на обсуждение *Е.Н. Ковтун*. С научными планами Института славяноведения РАН познакомил присутствующих *В.А. Хорев*.

Все участники конференции получили заблаговременно изданный сборник информационных материалов и тезисов докладов.

© 2003 г. А. Г. Машкова

Славяноведение, № 5

“КРУГЛЫЙ СТОЛ” “МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ. К ИТОГАМ ОПЫТА СЛАВЯНСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ XX ВЕКА”

17 декабря 2002 г. в Институте славяноведения РАН состоялся “круглый стол”, посвященный методам исследования территориально и социально ограниченных диалектов. Эти методы являются производными от совокупности вопросов, которые предварительно предполагается решить в ходе предпринимаемого исследования.

В славянской диалектологии на протяжении XX в. приоритет принадлежал составлению диалектных карт. Для этого создавались специальные программы обследования диалектов, содержание которых основывалось на корпусе установленных диалектных различий в соответствующих языках. Новизна результата эксплицировалась полученными изоглоссами, которые могли использоваться в целях классификации или аргументации выводов относительно истории языка. Менее распространенным типом диалектологического исследования являлось описание диалектов на всех

уровнях как языков, используемых территориально ограниченным кругом населения.

Развитие лингвогеографии и описательной диалектологии в конце XX в. во многом было обусловлено применением новых методов получения материала и его интерпретации. Это типологическая классификация больших собраний диалектов с применением компьютерных методов; использование средств экспериментальной фонетики для характеристики синхронного состояния диалектной системы, выявление социолингвистических характеристик территориально ограниченных идиомов, создание монографических описаний отдельных говоров.

Перечисленные вопросы стали предметом обсуждения на “круглом столе”.

Доклад *Л.Э. Калнынь* “К вопросу об иерархии методов изучения славянских диалектов” был посвящен доказательству того, что в диалектологии приоритетное значение должно принадлежать описанию говоря-

как языковой системы. Такое описание не может быть создано на основе традиционно применяемого в диалектологии дифференциального метода обследования говора, предполагающего сопоставление диалектной речи с эталоном, в качестве которого обычно выступает литературный язык. Такое сопоставление делает необходимым при определении особенностей говора выход за пределы наблюдаемого объекта, с одной стороны, и игнорирование некоторых частей того же объекта (совпадения со стандартом), с другой. Программа сбора материала для описания диалекта как языковой системы должна выявить все ее компоненты независимо от совпадения/несовпадения с литературным языком, дав тем самым основания для моделирования системы на синтагматическом и парадигматическом уровнях. В качестве иллюстрации в докладе приводятся фрагменты программы для обследования фонетики одного говора.

Сопоставление результатов описательной диалектологии и лингвогеографии содержится в докладе *Н.Н. Пшеничновой* "Учение Р.И. Аванесова о двух предметах диалектологии применительно к выделению диалектов". Учет только лингвистических особенностей русских диалектов позволяет создать структурно-типологическую классификацию идиомов вне их территориальной локализации. Опыт такой классификации говоров, образующих сетку ДАРЯ, был предпринят автором доклада. В то же время сопоставление этой классификации с территориальными изоглоссами показывает объективную содержательность последних, поскольку по многим параметрам имеет место совпадение. В связи с докладом было высказано пожелание, чтобы структурно-типологическая классификация учитывала не только картотеку ДАРЯ, но и обнаруженные в последние годы новые особенности русских диалектов. Это стало поводом для обсуждения и оценки двух существующих в русской диалектологии тенденций: с одной стороны, приверженность традиционной методологии системного изучения говоров с помощью предварительно составленных программ, а с другой – установка на магнитофонную фиксацию спонтанной диалектной речи, что позволяет открыть ранее неизвестные явления (ср. выступление Р.Ф. Касаткиной). По-видимому, оба подхода имеют право на существование и могут использоваться в зависимости от целей исследования.

В современной диалектологии все большее внимание уделяется фиксации и анализу звучащей речи с помощью технических

средств. Этому посвящен доклад *Л.Л. Касаткина* "Фонды магнитофонных записей диалектной речи как источник изучения современных диалектов". Магнитная запись дает принципиальную возможность обнаружения нюансов артикуляции и синтагматических связей между звуками, имеющих структурное значение. Так, в частности, в русских говорах выявлены ранее неизвестные вокальные модели, основанные на специфическом соотношении предударного и ударного гласных в слове. Сходной проблеме посвящен доклад *Р.Ф. Касаткиной* "К методике исследования предударного вокализма в русских говорах". Автор справедливо отмечает, что русские говоры не охарактеризованы (соответственно и не классифицированы) с точки зрения различий, эксплицированных интонацией слова и предложения, хотя разные регионы существенно различаются в этом плане. Как пример автор приводит интонационный и динамический контуры высказывания во владимирском говоре – специфика контура создается тем, что предударный слог оканчивается сильнее ударного.

В настоящее время завершены многие национальные и полилингвальные диалектные атласы. В этих условиях приобрела актуальность идея рекартографирования, т.е. включения информации, даваемой отдельными атласами, в более широкое лингвистическое пространство.

Г.П. Клепикова в докладе "Рекартографирование в ОКДА" показала эффективность использования названного метода в ситуации невозможности прямого анкетирования определенных групп говоров. Так, рекартографирование материала румынских атласов позволило отразить соответствующие данные на территории Румынии более чем в 50% карт ОКДА и тем самым в значительной мере восстановить континуитет карпато-балканского лингвистического пространства. Например, более полно оказалась представлена роль восточнороманского элемента как источника иррадиации многих лексико-семантических единиц в соседних языках/диалектах.

Выявление диалектных различий, выходящих за пределы одного языка, но актуальных в масштабах восточнославянского континуума, достигается координацией данных русского, белорусского, украинского атласов, как это показано в докладе *Т.В. Поповой* "Сопоставление данных национальных атласов как метод установления новых изоглосс". Эти изоглоссы выявляют, например, ареальное сходство между юго-западной частью украинских говоров и северо-восточ-

ной частью русских. В диахроническом плане некоторые восточнославянские изоглоссы показывают, что по генезису отдельных диалектных черт в древнерусский период праукраинские диалекты отличались от других восточнославянских.

В докладе *И.А. Букринской* и *О.Е. Кормаковой* "Лингвистическое картографирование как метод изучения лексики диалектов" на материале лексического тома русского атласа (=ДАРЯ) было показано, что системный подход к языковым фактам позволяет отразить на его картах не только лексико-семантические, но и словообразовательные, мотивационные, а также этнокультурные явления (ср. анализ наименований муравьев, радуги, частей цепа и др.). Это позволяет выявить на пространстве ДАРЯ несколько диалектных зон, границы которых описываются "пучками" изоглосс. Авторы высказывают мнение о том, что русский диалектный ландшафт по рассмотренным признакам более дифференцирован, чем белорусский или украинский.

Важным проектом современной русской диалектологии является "Лексический атлас русских народных говоров". Он охватывает большую территорию, чем ДАРЯ, за счет включения северных регионов и предполагает отражение на картах большего объема лексико-семантической информации. Об этапах работы над атласом, о программе, о первых полученных результатах при интерпретации лексических диалектных различий, зафиксированных в "Пробном выпуске атласа", было сообщено в докладе *Т.И. Вендиной* "Лексический атлас русских народных говоров: традиции и инновации".

Н.Е. Ананьева в своем докладе "О современных методах изучения польских периферийных говоров" подчеркнула интенсивный характер обследования указанных говоров на нынешнем этапе и показала разнообразие методов, которые используют исследователи. Это монографические описания отдельных говоров (применительно ко всей системе языка или отдельным "подсистемам" – фонетике, морфологии и др.), иногда – в сопоставлении с материалами иных периферийных говоров. Специально изучаются заимствованные элементы из говоров окружения. Проявляется интерес к ономастике и диалектной лексикографии, выражающейся не только в составлении новых диалектных словарей разных типов, но и в публикации старых. Привлекает внимание социо- и психолингвистический аспекты существования и функционирования периферийных говоров.

Традиционным аспектом диалектологии является использование ее данных для принятия решения относительно истории соответствующего языка. Этой проблеме уделено внимание *М.И. Ермакова* в докладе "О методах изучения истории серболужицких диалектов". Специфика ранних серболужицких памятников письменности XVI–XVII вв. состоит в том, что они мало подвержены орфографическому нормированию и достаточно определенно отражают диалект их авторов. Это дает возможность в ряде случаев определить диалектную основу памятника. Проследить динамику изменения отдельных диалектов возможно лишь при условии точной локализации памятника по отношению к современному диалекту. В докладе это показано на примере истории куловского диалекта, современное состояние которого сопоставлено с его отражением в сочинениях некоторых католических писателей XVII в.

На заседании "круглого стола" прозвучали доклады, посвященные изучению отдельных диалектных явлений разного уровня.

С.Л. Николаев в докладе "Ударение деминутивов в синевирском говоре и его соотношение с а.п. производящего", используя материал закарпатского диалекта, предложил интерпретацию динамики некоторых акцентных парадигм.

Проблеме ударения в заонежском севернорусском говоре посвящен и доклад *А.И. Рыко* и *А.В. Тер-Аванесовой* "Современная социолингвистическая ситуация в Заонежье". Авторы рассматривают распределение в речи носителей диалекта такой специфической черты, как перенос ударения с последнего слога слова на первый ("ляпанье"). По мнению авторов, носители диалекта могут контролировать место ударения в зависимости от ситуации общения. При этом в слоге с перенесенным ударением произносится дифтонг вместо монофтонга, в чем усматривается влияние карельских диалектов. По поводу этого доклад *С.А. Мызников* высказал предположение, что подбор авторами информантов не дал возможности создать объективную картину состояния диалектной черты – "ляпанье" значительно более устойчиво, чем это показано в докладе.

В докладе *С.А. Мызникова* "К проблеме изучения финно-угорских заимствований в русских говорах Северо-Запада" рассмотрены особенности методики выявления и лингвогеографической презентации заимствованных лексем, находящихся, как правило, на периферии языкового сознания носителей диалектной речи и относящихся к пассивному словарному запасу. В ходе возникшей

дискуссии обсуждались целесообразность картографирования наряду с иноязычными словами также исконных (ср. *когла*, *кокиша* и др. и *кукуль*, *колоколец* и др. 'шелуха, мякина от головок льна') (А.Ф. Журавлев), надежность этимологизации отдельных лексем (Ф.Р. Минлос), система знаков на карте (Н.Н. Пшеничнова).

С.К. Пожарицкая в докладе "Об изучении синтаксиса падежей: беспредложный творительный падеж в севернорусских говорах" показала многообразие проявления в говорах этой грамматической конструкции. Семантическая классификация демонстрирует использование беспредложного творительного падежа в самых разнообразных значениях, иногда неожиданных. Проблема, затронутая автором, интересна и нуждается в углубленном изучении.

Е.И. Якушкина в докладе "О двух парадигмах в изучении южнославянской диалектной лексики" рассмотрела современную сербскую диалектную лексикографию в аспекте реализации двух концепций ("парадигм") составления словарей. Это "культурологическая" концепция, когда составители словаря уделяют особое внимание отражению специфической лексики, характеризующей прежде всего своеобразие народной культуры той или иной области (традиция, идущая от В. Караджича). Другая, собственно "лингвистическая" концепция преследует цель наиболее полного отражения лексико-семантической системы говора или группы говоров (ср. деятельность представителей школы Д. Петровича в г. Нови Сад).

А.Ф. Журавлев в докладе "К состоянию современной диалектной лексикографии" дал углубленный анализ русской диалектной лексикографической продукции примерно за последние 20 лет. Несомненные успехи в этой области представлены появлением большого числа новых словарей различного типа (обратные фразеологические, этимологические, полижанровые и др.). В то же время в этом разделе науки имеются существенные недостатки: снижение качества лексикографической обработки словарных статей, усиление тенденции создания дифференциальных диалектных словарей и др.

Центральное место в докладе А.А. Плотниковой "Этнолингвистические и социоллингвистические методы изучения южнославянских диалектов" занимает обоснование перспективности и актуальности тех методов изучения терминологии славянской духовной культуры, которые получили широкое распространение в последние десятилетия.

Это прежде всего этнолингвистический метод. Его задача состоит, в частности, в исследовании, с одной стороны, значимых характеристик различных мифологических персонажей, обрядов, а с другой – в выяснении их функциональной идентичности. Это дает основание для картографирования соответствующих терминов и далее – для выявления отдельных (микро)зон. Ср. картографирование названий ведьмы: в центре южной Славии названия с корнем **věšt-*; наличие *coprnica* на северо-западе; *mag'osnica* на юге и востоке.

Р.Ф. Минлос продолжил тему своих изысканий в докладе "Редупликация в восточнославянских говорах". Была проанализирована семантика некоторых немотивированных и мотивированных редупликаций, взятых как из просторечных, так и диалектных форм языка.

Доклад О.А. Абраменко и М.Н. Толстой "Собиратель и информант: формула сотрудничества" затрагивает один из существенных компонентов работы диалектолога в поле. Искомые лингвистические данные при обследовании диалекта собиратель получает в ходе общения с информантом. Эта работа основана на определенных правилах, свод которых был в свое время сформулирован А.Е. Кибриком в книге "Методика полевых исследований (к постановке проблемы)" (М., 1972). Работа с информантом должна быть целенаправленной, ее нельзя сводить к пассивному наблюдению над речью информанта. Следует управлять речевым поведением информанта, т.е. стимулировать его в нужном направлении, провоцировать появление в речи информанта тех фактов, которые интересуют эксплоратора. Достичь этого можно лишь при наличии такого качества у информанта, как его научаемость. В докладе, прочитанном на "круглом столе", авторы делятся своими впечатлениями от речевого поведения информантов, с которым им пришлось столкнуться во время экспедиции в "русские говоры". В частности, они сообщают о тех приемах, которые оказываются эффективными при получении от информанта необходимых форм и парадигм.

В целом работа "круглого стола" оказалась весьма продуктивной. В прочитанных докладах и в дискуссии по некоторым из них не только отразились различные аспекты методологии современной славянской диалектологии, но и обозначились некоторые пути получения новых решений в этой области славистики.



К юбилею Эмиля Нидерхаузера

В ноябре 2003 г. исполняется 80 лет крупнейшему венгерскому историку-слависту, действительному члену Венгерской АН Эмилю Нидерхаузеру.

Э. Нидерхаузер родился в 1923 г. в Братиславе, после 1945 г. проживает в Венгрии. На протяжении многих десятилетий его жизненный путь и творческая деятельность связаны с Институтом истории Венгерской академии наук, в котором он продолжает трудиться и поныне. Немало сил академик Э. Нидерхаузер отдал и преподавательской работе, сначала в качестве профессора Дебреценского, а затем Будапештского университетов, подготовил десятки квалифицированных историков, в том числе русистов, славистов, балканистов.

Круг научных интересов Эмиля Нидерхаузера весьма широк. Среди его ранних работ были сравнительно-исторические исследования по аграрной истории, в частности об освобождении крестьян от крепостной зависимости в странах Восточной Европы. Позже Нидерхаузер сосредоточился на проблемах формирования наций, сопоставительном изучении идеологии и политической практики национальных движений XIX в. как в Средней Европе (в первую очередь в монархии Габсбургов), так и на Балканах. Его работы в этой области, опубликованные не только на венгерском, но и на других языках, снискали международное признание (см. на английском языке: *Niederhauser E. The Rise of Nationality in Eastern Europe. Budapest, 1982*).

Эмиль Нидерхаузер – один из основоположников венгерской балканистики, его перу принадлежат обобщающие работы по истории славянских и неславянских стран Балканского полуострова в XIX – начале XX в., о международных отношениях в регионе. Определенный вклад ученый внес и в изучение германской истории – его особенно интересовали проблемы германо-венгерских и славяно-германских отношений, политика Германии и Австро-Венгрии в Юго-Восточной Европе.

Одно из давних увлечений Э. Нидерхаузера – петербургский период российской истории. Многие венгерские читатели разных поколений могли подробно узнать об эпохе и личности Петра I, о вторжении Наполеона в Россию в 1812 г. из его научно-популярных книг и учебных пособий, основанных на серьезном изучении работ российских историков. В 2000 г. при участии Э. Нидерхаузера вышла первая в венгерской историографии фундаментальная (около 50 п.л.) “История России”, охватывающая период от Киевской Руси до распада СССР в 1991 г. Соавторы Э. Нидерхаузера – М. Фонт, Д. Свак и Т. Краус – являются ведущими в Венгрии специалистами по истории России. Книга, которую с полным правом можно считать итоговым трудом венгерской исторической русистики последних десятилетий и ее своего рода “визитной карточкой”, имела широкий резонанс в академической среде Венгрии и за ее пределами (на русском языке пока вышли лишь разделы, посвященные истории XX в.; см. отдельное издание: *Краус Т. Краткий очерк истории России в XX веке. СПб., 2001*). Э. Нидерхаузер был среди инициаторов создания на базе Будапештского университета Венгерского института русистики, который силами его учеников ведет большую научно-исследовательскую и публикаторскую работу, регулярно проводит представительные международные конференции с привлечением известных историков из Москвы и Санкт-Петербурга. Работы Д. Свака об эпохе Ивана Грозного, Т. Крауса о Сталине и ГУЛАГе, его же книга “Советский термидор” (1997) опубликованы на русском языке и нашли благожелательный отклик российских специалистов.

Эмиль Нидерхаузер активно участвует в деятельности совместной российско-венгерской (в прошлом советско-венгерской) комиссии историков со времени ее основания в начале

1970-х годов. В консультациях с ним проходила работа над важными трудами Института славяноведения РАН – трехтомной “Историей Венгрии” (1971–1972), “Краткой историей Венгрии: С древнейших времен до наших дней” (1991), многотомной серией исследований 1970–1980-х годов “Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму: Проблемы истории и культуры”.

В свои 80 лет академик Э. Нидерхаузер полон свежих идей и замыслов. Несколько лет назад в Дебрецене под его общим руководством начал издаваться новый исторический журнал “Клио”, задача которого – знакомить подготовленного венгерского читателя с новейшими достижениями мировой исторической науки, и не в последнюю очередь – российской. Целый ряд книг Института славяноведения РАН отрецензирован как самим Э. Нидерхаузером, так и другими историками, по его инициативе.

Академик Эмиль Нидерхаузер входит в круг авторов журнала “Славяноведение”. Его статья “Славянские народы империи Габсбургов в революции 1848 года” (Славяноведение. 1998. № 6) отражает точку зрения крупного венгерского историка по остающимся дискуссионными в современной российской науке проблемам острых межнациональных отношений в Австрийской империи во время так называемой “весны народов” 1848–1849 гг.

© 2003 г. А. С. Стыкалин

Славяноведение, № 5

К юбилею Александра Михайловича Орехова

3 июня 2003 г. исполнилось 70 лет Александру Михайловичу Орехову, известному специалисту по истории Польши XIX–XX вв., российско-польских и советско-польских отношений.

А.М. Орехов пришел в Институт славяноведения и балканистики АН СССР в 1958 г., после окончания Московского историко-архивного института. С Институтом славяноведения связано несколько десятилетий его научной деятельности, здесь он продолжает трудиться и в настоящее время.

Начав свой путь в науке со статей по экономической истории России в XVII в., А.М. Орехов вскоре переключился на изучение российско-польских революционных связей в 1860–1890-е годы. По этой тематике им была опубликована первая монография – “Социал-демократическое движение в России и польские революционеры, 1887–1893” (М., 1973), которой предшествовали статьи в сборниках “Русско-польские революционные связи 1860-х годов и восстание 1863 года” (М., 1962), “Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина XIX века)” (М., 1967), “Связи революционеров России и Польши XIX – начала XX в.” (М., 1968). К этой проблеме А.М. Орехов обращался и позже, в частности, в коллективном труде “СССР и Польша. Интернациональные связи. История и современность” (М., 1977). Изучение контактов польских и русских революционеров позволило перекинуть мостик к исследованию российского революционного движения на рубеже 1880–1890-х годов с использованием новых источников. В 1979 г. выходит монография А.М. Орехова «Первые марксисты в России. Петербургский “Рабочий союз” (1887–1893)» (М., 1979).

В то же время ученый углубляется в изучение социалистической идеи в Польше и ее конкретного воплощения в политической практике. Вслед за статьями в сборниках “Исследования по истории польского общественного движения в XIX – начале XX в.” (М., 1971), “Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX – начале XX в.” (М., 1974) в 1979 г. появляется его фундаментальная работа “Становление польского социалистического движения: Структура, программные концепции, деятели (1874–1893)”, ставшая важным шагом на пути к получению более систематического представления об общественно-политической жизни в разных частях разделенной Польши во второй половине XIX в. В 1988 г. под его редакцией выходит коллективная монография “Общественное движение на польских землях: Основные идейные течения и политические партии в 1864–1914 гг.”. Работы А.М. Орехова по

истории Польши XIX в., вводящие в научный оборот немало нового фактического материала, находили благожелательный отклик польских коллег.

С середины 1980-х годов центр тяжести в научных интересах А.М. Орехова все более перемещается на вторую половину XX в. Он был одним из первых российских исследователей, обратившихся к осмыслению общественно-политического кризиса начала 1980-х годов в Польше. В «Краткой истории Польши: С древнейших времен до наших дней» (М., 1993) А.М. Орехову принадлежат главы о положении в стране в 1970–1980-е годы. Отдал дань Александр Михайлович и изучению социокультурной трансформации польского общества в эпоху социализма. В 1992 г. в Институте славяноведения и балканистики под его редакцией вышел сборник «Социокультурные процессы в странах Восточной Европы (после Второй мировой войны)». В 1992–1998 гг. А.М. Орехов работал в Институте национальных проблем образования, возглавляя сектор.

Особенно значителен вклад А.М. Орехова в изучение кризиса 1956 г. в Польше, и в первую очередь советско-польских отношений в этот период. Его наиболее важные исследования в этой области были опубликованы в коллективном труде Института российской истории РАН «Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение» (М., 1995), сборниках Института славяноведения РАН «Политические кризисы и конфликты 1950–1960-х годов в Восточной Европе» (М., 1993), «Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран» (М., 1997), журнале «Исторический архив». Подготовлена к печати монография А.М. Орехова о польско-советских отношениях в 1953–1957 гг.

Историк-архивист по образованию, А.М. Орехов не только имеет склонность к скрупулезным архивным изысканиям. Он высококвалифицированный публикатор и комментатор источников по новой и новейшей истории как Польши, так СССР и России. В последние годы А.М. Орехов отдает немало сил работе в Российском государственном архиве новейшей истории, готовя публикацию материалов Президиума ЦК КПСС в 1950–1960-е годы.

© 2003 г. *А.С. Стыкалин*



Памяти Александра Сергеевича Мыльникова (1929–2003)

3 февраля 2003 г. не стало нашего коллеги, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Александра Сергеевича Мыльникова.

В библиографии трудов ученого – несколько сот позиций, в том числе более десятка индивидуальных монографий. Исследовательский кругозор А.С. Мыльникова чрезвычайно широк. В поле его зрения находились этнология, культурология, книжное дело, археография. Он занимался и зарубежными славянами, и западной (прежде всего германской) проблематикой, и Россией. В научное наследие А.С. Мыльникова входят также исследования по имагологии и регионалистике. Библиографический указатель его трудов [1] – на редкость увлекательное чтение, не оставляющее равнодушным любого гуманитария: столь оригинальны и масштабны в самой своей постановке проблемы, за решение которых брался ученый. Он творчески применял сравнительно-исторический, типологический, междисциплинарный подходы, обращался к сложнейшим теоретико-методологическим проблемам, живо откликался на вызовы современности.

А.С. Мыльников внес большой вклад в развитие отечественного славяноведения, с которым связал свой научный путь еще в студенческие годы, когда, обучаясь на юридическом факультете ЛГУ, по совету научного руководителя профессора И.И. Яковкина приступил к изучению памятников средневекового славянского права. Надо сказать, что одно из традиционных направлений отечественного славяноведения, историко-правовые штудии, в советское время пришло в упадок и в первые послевоенные годы только начинало возрождаться. И.И. Яковкин принадлежал к числу тех, кто олицетворял собой преемственность с дореволюционной наукой. Сделанный выбор требовал от молодого юриста изучения славянских языков, а также истории средних веков, и А.С. Мыльников факультативно посещал занятия как на филологическом, так и на историческом факультетах. Среди его учителей – видный историк-медиевист А.Д. Люблинская.

Окончив в 1952 г. ЛГУ, А.С. Мыльников стал сотрудником Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская Национальная библиотека). В ней он трудился свыше 20 лет, в 1962–1973 гг. возглавлял отдел рукописей и редких книг, многое сделал для составления разного рода библиографических указателей, путеводителей по книжным фондам, описания архивных коллекций. Научные интересы исследователя по-прежнему тяготели к западнославянскому средневековью, хотя акцент заметно переместился с государственно-правовой на книговедческую и историко-культурную тематику. Характерно, что даже в узкоспециальных книговедческих исследованиях А.С. Мыльникова изучаемый предмет неизменно вводился в более широкий историко-культурный контекст. В частности, им разрабатывался вопрос о причинах сохранения рукописного способа создания книг после возникновения книгопечатания. Со временем А.С. Мыльников углубляется в проблематику раннего Нового времени, все большее внимание уделяя эпохам Просвещения и национально-Возрождения в Чешских землях.

Работая с 1973 г. в ленинградской части Института этнографии АН СССР (с 1985 г. в качестве заведующего отдела), Мыльников тесно сотрудничал с Институтом славяноведения и балканистики, активно участвовал в осуществлении ряда долгосрочных исследовательских программ последнего. В этой связи особого упоминания заслуживают два направления.

Первым из них явилось изучение региона Центральной Европы в переломную эпоху конца XVIII – первой половины XIX в. Главное место в трудах ученого принадлежало богемистике, о чем свидетельствуют его монографии об эпохе Просвещения в Чешских землях (1977) и культуре чешского национального Возрождения (1982), о П. Шафарике (1963) и Й. Юнгмане (1973), по истории чешской книги (1971). За заслуги в пропаганде чешской культуры в 1995 г. на I Всемирном конгрессе богемистов А.С. Мыльников был удостоен памятной медали.

Однако ученый не ограничивался страноведческими рамками, разрабатывая проблематику межславянских связей и типологических черт в развитии региона. В 1970-е годы вместе с И.С. Миллером, В.А. Дьяковым, Т.М. Исламовым, В.И. Фрейдзоном и другими видными учеными Института славяноведения и балканистики он стал одним из инициаторов многотомной серии “Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму: Проблемы истории и культуры”. В первую очередь А.С. Мыльников обратился к анализу общества монархии Габсбургов. Большое научное значение имела разработанная при его участии типология, в основе которой лежало деление на нации и народности с полной и неполной этносоциальной структурой. В 1984 г. под редакцией А.С. Мыльникова увидел свет коллективный труд “У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе”. Позднее ученый вернулся к этой теме в своей обобщающей, сравнительно-исторической по характеру монографии “Народы Центральной Европы: Формирование национального самосознания, XVIII–XIX вв.” (1997).

Вторым направлением работы А.С. Мыльникова стали историко-научные изыскания. Сотрудничая с возглавляемым В.А. Дьяковым коллективом, он внес весомый вклад в подготовку библиографического словаря и монографии по истории дореволюционного славяноведения в России, значение которых сохраняется по сей день. При этом А.С. Мыльников был одним из немногих авторов, кто серьезно занимался судьбами западной славистики и истоками научного славяноведения в России в XVIII ст. В 1980-е годы под его редакцией в Москве вышли четыре сборника статей, посвященных прошлому и современному состоянию зарубежной славистики и балканистики. К сожалению, из-за нехватки кадров данное направление не получило у нас дальнейшего развития, хотя его разработка могла закрепить за отечественной наукой важный приоритет. Активно участвовал А.С. Мыльников также в деятельности Комиссии по истории мировой славистики при Международном комитете славистов.

Еще одним плодом взаимодействия А.С. Мыльникова с Институтом славяноведения и балканистики явился коллективный труд “Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней” (1988), в котором его перу принадлежат обширные разделы по XVIII–XIX вв. Сотрудничество с институтскими специалистами по истории средневековья и раннего Нового времени нашло выражение в выступлениях А.С. Мыльникова на конференциях “Славяне и их соседи”. Он входил в круг постоянных авторов журнала “Советское славяноведение” (позднее – “Славяноведение”), где опубликовал ряд статей и рецензий. В 2003 г. ожидалось участие А.С. Мыльникова в нескольких научных мероприятиях и изданиях Института славяноведения РАН...

Присущие ему жажда познания и новаторство, блеск эрудиции и трудолюбие в полной мере проявились в диалогии “Картина славянского мира: Взгляд из Восточной Европы” – образце синтеза отечественной и зарубежной истории, интегрального славяноведения (“Этногенетические легенды, догадки, протогоипотезы XVI – начала XVIII века” (1996; 2-е изд. – 2000); “Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века” (1999)). На основе анализа огромного массива источников – исторических, политических, географических, дидактических сочинений различных по своей этнической принадлежности авторов, уникального картографического материала, – А.С. Мыльников реконструирует представления славянских народов о себе, друг о друге, славянстве в целом, его происхождении и последующей эволюции, о соотношении этнических и государственно-политических границ в Восточной Европе, характере взаимодействия славянства с неславянским миром. Автор диалогии обсуждаются вопросы о том, как сказывались на этнических стереотипах религиозный фактор и различия между формами государственности (например, самодержавием в России и “шляхетской демократией” в Польско-Литовском государстве), каковы социальные и политические функции этномифологем. Показывается, что, блуждая по лабиринтам мифотворчества, отдельные авторы XVI–XVIII вв. могли строить догадки, предвосхищавшие позднейшие научные прозрения.

В поле зрения А.С. Мыльникова попал ряд сюжетов, важных для исторических судеб Украины и Белоруссии. Им исследовалось, как в представлении современников соотносились между собой в этническом плане православные Речи Посполитой и жители Российского госу-

дарства. С огромным интересом читаются страницы, посвященные бытованию и научной интерпретации этногеографической терминологии – несомненно, одной из ключевых и острых проблем современного славяноведения.

Следует заметить, что в отличие от большинства славистов, берущихся за разработку имагологических сюжетов, А.С. Мыльников демонстрирует владение теоретическими основами современной этнологии, что значительно увеличивает познавательную отдачу его исследований. Славистические изучения также обогатились его обогатились культурологическими новациями. В этой связи упомянем вышедшие под редакцией А.С. Мыльникова сборники “Этнографическое изучение знаковых средств культуры” (1989), “Этнографическая наука и этнокультурные процессы. Способы взаимодействия” (1993). Предметом анализа в его работах становятся, в частности, межславянские связи в сфере народной культуры, причем последние выступают элементом процесса формирования наций. Интерес исследователя привлекало бытование в народном сознании славянских этносов социальных утопий. В своих учебных курсах по истории культуры и некоторых статьях А.С. Мыльников приближался к историко-антропологическому подходу к предмету истории культуры, ставя в центр внимания человека определенной эпохи.

Две книги А.С. Мыльникова (1987 и 1991 гг., вторая в расширенной версии переведена на немецкий язык) посвящены истории такого феномена, как самозванчество в славянском мире. От занятий этим сюжетом берет начало интерес к личности и царствованию Петра III, чему ученый также посвятил две книги (2001 и 2002 гг., последняя в серии “Жизнь замечательных людей”).

Для ряда научных направлений кончина А.С. Мыльникова стала поистине невосполнимой утратой, которая будет ощущаться не только в России, но и за ее пределами.

А.С. Мыльников проявил себя незаурядным организатором науки. Во многом благодаря его энергии и настойчивости долгое время активно функционировало возглавляемое им с 1976 г. ленинградское отделение Научного совета по комплексным проблемам славяноведения и балканистики. Он был известен как горячий поборник возрождения этого координационного органа (что и произошло в 2003 г.). В 1992–1997 гг. Мыльников – первый директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры), в который была преобразована ленинградская часть Института этнографии. С 1991 г. он возглавлял Петербургскую ассоциацию белорусистов.

В течение нескольких десятилетий профессор А.С. Мыльников сочетал научную работу с педагогической, читал спецкурсы в ЛГУ, преподавал в Ленинградском институте культуры, Высшей профсоюзной школе культуры и других вузах. В списке его трудов находим учебные пособия, в том числе по основам исторической типологии культуры (1979).

Московские слависты (и не только старшего поколения) знали своего петербургского коллегу как человека открытого к общению, надежного и принципиального, готового откликнуться на все творческие начинания. Для многих из нас он олицетворял собой славяноведение северной столицы.

Те, кто общался с Александром Сергеевичем в его последние месяцы, знают, что он ушел из жизни, далеко не исчерпав своих замыслов, увлеченный многими научными проблемами. Труды А.С. Мыльникова востребованы наукой. Память о большом ученом будет жить в сердцах его коллег.

© 2003 г. Л. Е. Горизонтов, А. С. Стыкалин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александр Сергеевич Мыльников. Библиографический указатель (К 70-летию со дня рождения). 2-е изд., доп. СПб., 2001.

Новые издания Института славяноведения РАН

В 2000–2003 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- *Адельгейм И.Е. Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.
- *Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
- *А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.
- *Балто-славянские исследования. 1998–1999. М., 2000.
- Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.
- *Бернштейн С.Б. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000. Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.
- *Головачева А.В. Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.
- *Задорожнюк Э.Г. Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.
- *Калиганов И.И. Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.
- *Кирилина Л.А. Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.
- *Книга в пространстве культуры. М., 2000.
- Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.
- *Маркович Д.Ж. Разговор с друзьями. М., 2000.
- *Международные организации и кризис на Балканах. Документы. М., 2000. Тома I, II.
- Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции. М., 2000. Ч. I.
- *Плотникова А.А. Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.
- *Политика и поэтика. Сб. статей. М., 2000.
- Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
- Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимнепонимание. М., 2000.
- *Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000.
- Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1–2.
- *Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000.
- *Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М., 2000.
- *Хаванова О.В. Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.
- *Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. М., 2000.
- *Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии. М., 2001.
- *Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001.
- *Гугнин А.А. Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
- *Европейские революции 1848 г. “Принципы национальности” в политике и идеологии. М., 2001.
- *Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.-Новосибирск, 2001.
- *Институт славяноведения. 1999–2000. М., 2001.
- *Исследования по славянской диалектологии. 7. М., 2001.
- *История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3.
- *Калнынь Л.Э. Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах. М., 2001.
- *Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. М., 2001.

- **Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
- **Молодина Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
- **Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001.
- **Никольский С.В.* Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001.
- **Смирнов Л.Н.* Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001.
- **Стыкалин А.С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
- **Фрейдзон В.И.* История Хорватии. М., 2001.
- **Агапкина Т.А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
- **Аникеев А.С.* Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период “холодной войны” (1945–1957). М., 2002.
- **Вендина Т.И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- *За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.
- *Исследования по славянской диалектологии. М., 2002. 8.
- **Левкиевская Е.Е.* Славянский оберег. Семантика и культура. М., 2002.
- **Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
- *Литература Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. М., 2002.
- *Признаковое пространство культуры. М., 2002.
- *Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002.
- *Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Т. 2: 1949–1953. М., 2002.
- **Софронова Л.А.* Три мира Григория Сковороды. М., 2002.
- *Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы. М., 2002.
- **Studia Polonica.* К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
- *Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 2002.
- *Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002.
- *Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. СПб., 2002.
- **Шемякин А.Л.* Смерть графа Вронского. М., 2002.
- **Шерлаимова С.А.* Литература “Пражской весны”: до и после. М., 2002.
- *Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2003.
- *Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

<i>Volkov V.K.</i> (Moscow). Place of Slavic Studies in the System of Humanities	3
--	---

TOWARDS 125TH ANNIVERSARY OF BULGARIA LIBERATION

<i>Vinogradov V.N.</i> (Moscow). The Chancellor A.M. Gorchakov in the Oriental Crisis in the 1870ies	16
<i>Makarova I.F.</i> (Moscow). Russian Tsar in the Views of the Bulgarian People.....	25

ARTICLES

<i>Dostal M.Yu.</i> (Moscow). The Slavic Philology Chair of the MSU (1943–1948): Towards 60 th Anniversary	32
<i>Bagdasarov A.R.</i> (Moscow). Variants of Literary Norms in the Contemporary Croatian Language	48

COMMUNICATIONS

<i>Churkina I.V.</i> (Moscow). Russian and Slavic Philology in the Tartu University	56
<i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). The International Scholarly Conferences Devoted to the Hungarian History and the Russian-Hungarian Relations.....	63

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Akimova O.A.</i> Drugi hrvatsli slavistički kongres. Zbornik radova	73
<i>Stykalin A.S.</i> Е.Ю. Сергеев. “Иная земля, иное небо...” Запад и военная элита России (1900–1914 гг.).....	83
<i>Zadorozhnyuk E.G.</i> Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992	88
<i>Guzenkova T.S.</i> В.В. Петровский. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации	91
<i>Gorizontov L.E.</i> И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки.....	96
<i>Marysyna I.M.</i> И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки.....	102
<i>Syss-Kshishovsky S.</i> Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского: Каталог: Из собрания научной библиотеки МГУ	104

SCHOLARLY LIFE

<i>Dostal M.Yu.</i> The International Conference “200 Years of Russian-Slavic Philology in Tartu”	107
<i>Platonova I.V.</i> Scholarly Conference “Yu.I. Venelin and the Bulgar National Rebirth”.....	112
<i>Mashkova A.G.</i> The International Scholarly Conference “Slavic Literatures in the Context of the World Literature History (Teaching, Research)”	113
<i>Kalnyn L., Klepikova G.</i> “Round Table”: “Methods in Research of the Territorial Dialects. The Experience of the Slavic Dialectology in XXth Century”	115

PERSONALIA

<i>Stykalin A.S.</i> Toward the Anniversary of Emil Niederhauser	119
<i>Stykalin A.S.</i> Toward the Anniversary of Alexander Michajlovich Orekhov.....	120

OBITUARIES

<i>Gorizontov L.E., Stykalin A.S.</i> In Memoriam of Aleksandr Sergeevich Myl'nikov (1929–2003)....	122
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.В. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *Е.В. Пономарева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

Сдано в набор 03.06.2003 Подписано в печать 22.07.2003 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отг. 6,0 тыс. Уч.изд.л. 11,9 Бум.л. 4,0
Тираж 563 экз. Зак. 7540

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
В Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН


Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

ПОДПИСКА-2004
— ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1
ТОМ
Российские и зарубежные газеты и журналы

2
ТОМ
Книги и учебники



1
ТОМ
ПРЕС
РОС
И З
ГАЗ
И Ж

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе “АПР”